

В СТОРОНУ МОСКВЫ

Википовесть

Часть I.

АЛЬБЕРТИНАЖ

Я – москвич! Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово, вкладывая в него всего себя.

Владимир Гиляровский. Москва и москвичи.

Цирцеевы өчпочмаки

– Мозан-Мәскәү тиз йөрешле поездына утыру дэвам итә. Поезд составы беренче юлда тора. Игътибарлы һәм сак булыгыз!¹ The boarding on the fast train number 1 from Mozan to Moscow is on progress, track 1.

Стук чужих букв – неравно непонятных – смешивался в альбертовом сознании со стуком колес и вокзальным гвалтом. Шумелось. Мозань изо всех старалась быть третьей столицей.

Первый голос был преисполнен этого старания. Он беспричинно радовался и звенел нотками Любви Орловой. Раздражающе претендовал на домашность и пах өчпочмаками² из «Дома чая» на Баумана.

Второй голос, тоже женский, на самом деле прозвучал раньше – из уважения к интернациональному болельщику. Он был одет в строгую офисную двойку с жилетом и респектабельно шелестел Гайд-парком.

Еще раньше был русский голос, но он был голос как голос и ничего в альбертовой голове не вызвал.

– Подвиньс-с-ся, свинючок, – с искусственной напевностью прошепелявил рот какой-то бабки.

Возможно, она назвала его внуком. Но все же Альберт на всякий случай обиделся и посторонился ровно настолько, чтобы ее баулы прошли меж ним и стенкой вагона. Бабку это не устроило, и, не выпуская из удивительно мускулистой руки разукрашенный под триколор мяч, она вдавила Альберта в прејскурант сникерсов и собак-забивак.

¹ Продолжается посадка на скорый поезд Мозань-Москва. Состав поезда находится на первом пути. Будьте внимательны и осторожны! (Здесь и далее приводится авторский перевод с мозанского).

² Треугольниками (мозанское национальное блюдо из теста, картофеля и мяса). Впрочем, такой состав имеют еще с десяток мозанских блюд.

Хилое альбертово тело вяло сопротивлялось, и некоторое время они с триколором толкались в проходе. В этом куреше бабка вышла победителем и гордо прогромыхала свой потрепанный пустыней караван в другой конец вагона, незримым бичом отгоняя замешкавшихся внучков.

Альберт проводил ее взглядом до своего отсека. Караван прошел дальше, значит, еще был шанс на удачную поездку.

Болезненно пересчитывая минуты до отправления, он вернулся к трапу. Там уже собралась ворчащая – *скворчащая*, привычно подумалось ему, – толпа.

– Вы не понимаете, да? – убеждал очкастый парень с прилизанными волосами. – Я посеял паспорт, вот справка. Вы должны пропустить по копии.

– Не хами, – лениво парировала проводница.

Парень задумался над природой хамства, и она продолжила:

– Приказ у нас такой. Не пущать. Твоя *копийка* не документ. Как мне без документа знать, что это ты? А если террорист какой?

– Господи, да вы почитайте правила, если справка об утере, то можно по копии. Почему я могу быть я с одной бумажкой и я не могу быть я с другой?

– Особое время сейчас. Чемпионат. Всемирный, – важно изрекла проводница.

Потрясая при каждом движении некошерными формами (будто Цирцея, оступившись, заколдовала саму себя), она с ленивой властью отодвинула его. Парень, подстрекаемый толпой, умчался в сторону вокзала. Очередь заскворчала сильнее.

Наконец, неторопливая цирцеева рука тронула все паспорта, и проводница двинулась по узкому коридору, вышвыривая провожающих.

Вагон оживлялся, распахивал скатерти-самобранки, весело переругивался. Бывалые уже раскладывали постели и приценивались к подорожавшему чаю. Колбасный дух мешался с потом и недавними сигаретами.

Альберт счастливо выдохнул и вернулся в отсек. Он готов был поверить, что пол в нем устлан соломой, а матрас согрет дыханьем вола. Чудо свершилось, вопреки цирцеевым чарам. Он был один.

Вместо аллилуйи Альберт потянулся к своему старенькому планшету. Намучившись с зависающим сенсором, он с жадностью наркома добрался до пиратского Word-a. Сегодня кровь из носу нужно закончить его историю и, наконец, опубликовать *Дневник*. Так, вот страница Гинзбурга в «Прожито». Блогосфера. На самом видном месте вкладка Семисферы. И, конечно,

история мира в Википедии. Пометка: *полный свод всех человеческих, божественных, политических и механических знаний*. Чудо гносеологии.

Word тоже был чудом – он превращал цифры в буквы.

Альбертинка 57-ая (отрывки)

из записок Арона Гинзбурга

...Когда мне было шесть лет, я впервые услышал слово *жид*. Я был уверен, что это существительное от *жидкий*. До сих пор не могу избавиться от ощущения неприятной мокрости этого слова. Как пот или мерзкие капельные мурашки по телу по выходе из ванной.

Это был 5724 год, если считать так, как считали мои родители. Или 54-й, если по моим нынешним меркам времени. Фотографически помню лицо мальчика, который выкрикнул мне это слово, когда я что-то там у него выиграл. Я даже не знал, что мне нужно обидеться и бить его по этому овальному лицу.

Много позже, занимаясь историей Шоа, я обнаружил, что имя его отца – оно совпадало с его собственным, и потому я сначала как будто получил оплеуху – выгравировано на табличке в аллее праведников в Яд ва-Шеме. Дерево в его честь было посажено одним из первых, в год смерти Людоеда (его отец умер тогда же).

Так я понял, что память не является наследственной, а приобретается
<...>

Я родился в день объявления независимости Израиля, то есть пятого ияра. Бен-Гурион, еще не ставший аэропортом, решил не терпеть последние сутки британского мандата. Чингисхан умер, и чингизиды устроили великую свару.

Поморщившись, Альберт отредактировал последнюю строку. Нельзя палиться.

Македонский умер, и диадохи устроили великую свару.

В один из первых дней войны, когда египетские самолеты уже бомбили Тель-Авив, моя мать отправилась за хлебом, и прямо у прилавка ее, только-только после родов, забрали. Так мне рассказывали. Я представляю ее только по фотографиям, оживляю несуществующие воспоминания. В моей

памяти даже есть грузовик «Хлеб», в котором ее везли. Почему-то я всегда был уверен, что ее забрали по делу врачей, хотя тогда оно еще только задумывалось <...>

Затем история государства Израиль меня преследовала.

В 1952 году евреи были приняты в европейскую историю и впервые участвовали в Олимпийских играх (правда, ничего не заняли, как и последующие сорок пустынных лет). О результатах Олимпиады – про нее трубили везде, поскольку впервые участвовал и СССР – мы уже не читали: пропал отец. Вот его забрали как раз как врача, точнее, как «агента Джойнта». Отца трижды должны были расстрелять, но дважды вмешивался случай (он рассказывал фантастические истории об обмене кроватями и жизнями). Третья казнь должна была состояться в середине марта, его собирались даже не расстрелять, а повесить на площади. По возвращении отец начал тайком ходить в полуподпольную синагогу.

Накануне Шестидневной войны я, едва достигнув совершеннолетия, женился. Свадьба была громкой и короткой. Медовый месяц не состоялся: мы каждый день той страшной недели вычерпывали из газет скупую информацию. Впрочем, все закончилось победоносно. Уже через пять дней мы закатили пир почище свадебного <...>

Отец умер от того, что разучился дышать (осложнился заработанный еще в лагере туберкулез), за две недели до самолета в Тель-Авив. У нас уже все было устроено. Он почему-то считался жертвой нацизма. В пересчете на шекели получалось более чем солидно.

Я тоже остался в Москве.

Мы планировали там вместе продолжать работу над историей Шоа, у отца были какие-то связи в Иерусалимском университете. Мое крещение скрыли. Жены у меня уже не было <...>

Братья и сестры, сказал Спаситель наш, стремясь стереть языковые границы наций.

Братья и сестры, дрожал гнусный язык Людоеда во дни его тягостных сомнений.

Братья и сестры, говорю вам я, Арон Ицхакович Гинзбург. Один Господь знает, зачем я пишу для вас свою историю. Пусть так, с маленькой буквы.

Мои внуки считают меня сумасбродным стариком, не умеющим пользоваться цукерберговой сетью. Зато вот на их беду освоил Семисферу.

Спасибо, братья и сестры. Я вижу, что здесь много немцев. И даже итальянская синьора, что особенно приятно.

Храни вас Господь.

Протеевы муки

Альберт сидел по-турецки, раздраженно покусывая уголки ногтей.

Духота и колбасная вонь мешали сосредоточиться и быть Ароном Ицхаковичем.

Господи, да какой еще Ицхакович – из шиндлеровских списков прыгнул вместе с аллеей праведников? Почему не сменил Гинзбург-старший имя на что-то более попутное советскому? Из ортодоксальности?

Настоящий Гинзбург был Матвеич, но это для Семисферы не катило. Но лучше бы Исаак, чем Ицхак. Исаак, который будет смеяться, говорит Википедия.

Нет, Ицхак Гинзбург не будет смеяться, он умер, разучился дышать ворованным воздухом. А вот как быть дальше с его сыном, пока непонятно.

Ладно, к черту, хотя бы ради этой сумасбродной итальянской старухи, что подписана на Гинзбурга в Семисфере, – надо опубликовать. Только сначала перевести для отягченных виной потомков Оси на их языки. Поиграть еще и в Шмуэля Руфайзена.

Название портала тоже дурацкое, хотя здесь мешались сложные завистливые отношения с Гинзбургом. Блогосфера – еще куда ни шло. Но Семисфера! В голове вставляли то ли лотманские усы из тартуского памятника, то ли кастрированный земношар. И на пупе этого шара – славный град Ерушалаим.

Выбирать не приходилось. Семисфера была идеальным местом для памяти Арона Гинзбурга. Для национальной травмы. И для разговора с европейцами.

Немцы даже что-то отписывали, итальянская синьора (аж девяностолетняя, сообщает Блогосфера) – долгое время молчала, но перед чемпионатом вдруг активизировалась.

Альберт хмуро клацнул на Enter. Русский текст залился на сайт, переводом можно будет заняться позже.

Mutat cum Proteo, подсказала Википедия.

Крестьянское гнездо

Текст, еще теплый, почти парной, ушел, и стало легче.

Альберт блаженно растянул ноги, насколько позволяла плацкартная полка. Господи, Аллах, Яхве, спасибо. Не считая той бабки, все хорошо

весьма. Он даже позволил себе насвистывать что-то вроде California Dreamin' или песенки вагантов.

Что-то щелкнуло, гроыхнуло вниз, и пространство пришло в движение. Поезд тронулся. Странно, ему казалось, что провожающих давно выгнали. Еще до того, как Гинзбург потемневшими узловатыми пальцами смог нажать на своем стареньком компьютере на вкладку Семисферы.

Кремлевские стены вокзала медленно позли назад. Альберту ужасно хотелось показать язык белым барсам, сторожащим вход, но отсюда их не было видно.

Прощай, Нежин! Прощайте, сорочинские базары! Нас с братом Кюхельгартемом (в быту Кюхлей) ждет спящий Пушкин. Саша, Саша, не ходи на речку, на Черную речку. Там конечная. Давай лучше к порфиноносной, Саша. Ведь там твой Дом, не в Ленинграде. Там улицы моложе местных красавиц, там так много для сердца русского, там кафе Пушкинь. Ты ли, Сашенька, в миру сладкий пушкин точка ру? Нет, Саша, спишь ты уже, с разорванным ртом, распятый по ошибке. Дюже барин устал, всю ночь играл в картишки.

Да, хорошо весьма. Альберт бессмысленно ощупывал потертую материю полки, улыбался. Пространством и временем полный. Отправление вместо возвращения.

В пальцах снова что-то заискрило, и он послушно подвинул к себе планшет. Можно приступить и к переводам, к знакомству Гинзбурга с миром.

Начну с итальянского, со старой синьоры, решил он. В голове нетерпеливо всплыли футбольные заголовки с длинношеим вождем.

Ну же, включайся, любовно торопил Альберт телефонный словарь. Тот артачился и подсовывал рекламу чемпионата.

Да уж знаем, знаем, отмахивался Альберт.

Экран завис. Плохой знак.

Любимое итальянцами чудо потихоньку исчерпалось: на другом конце вагона раздались цыганские вскрики. Альбертову грудь защемило в нехорошем предчувствии.

Что же вы так, Господи, Яхве, Аллах, пробормотал он, неловко вставая из-за стола и глазами ретируясь в сторону дребезжащего туалета.

Но он не успел: цыгане оказались быстрее.

Андроиды и андрогины

Они появились в его отсеке (он так и подумал – *его* отсек) как-то все вместе, обгоняя собственный шум. Альберт безуспешно пытался сосчитать их. Лица кривлялись, множились, перемешивались в пьяной чехарде. Смутное подозрение, что их больше, чем мест, не покидало его до самой Москвы.

Конечно, это были никакие не цыгане. Узкогрудый и жилистый муж, похожий на иссохшего Челубея согнутой спиной конника. Его дородная жена, списанная с буддоподобной жены замятинского Мамаю. Эти двое явно были мозанцы. В прочих угадывались башкиры, удмурты и какие-то пережившие Левунион печенеги.

Последние были особенно странные: с одного бока мускулистомаскулинные, с другого – чистые тюркские княжны. Андрогины, хмуро заключил Альберт.

– Зря ты, Марфуша, жаловалась, – плаксиво пробасил Челубей. – Нормальный вагон, получше челнинского поезда.

– Если бы мы сюда еще вовремя сели, одно дело, а так хреначили через все вагоны, – назидательно ответила Будда, почесывая волосеющий подбородок. – Молодой человек, дайте вещи убрать, чтобы не толкались под ногами.

– Вы до Москвы? – вежливо уточнила одна из андрогинок.

– Уф аллам³, жарко-то как, – сказал кто-то.

– Как включить радио? Или это не радио? Че это за хреновина?

– Ма, ты позвонила? Во сколько нас дядя Ося встретит?

– Молодой человек, уберите ногу, нет, правую, ну мешает же.

– Кто сегодня играет? А как эти черти дернули Саллаха!

– Более 150 военных полицейских вернулись домой после выполнения задач в Сирийской Арабской...

– Алла бирсэ⁴, и до финала дойдем. Ноги все-тки не из жопы.

– Ты слыхал, он теперь почетный гражданин Чечни?

– ...вручили государственные и ведомственные награды...

– Рамзан-рамзан-рамзан, твердый как пармезан...

– А вы из Мозани? На матч едете?

– Ты дурак, что ли, уже продули хорватам. Хорватичам, мать их дери.

– Да завтра уже финал.

– ...и авиационная техника. Ранее в пункты...

– Улым⁵, передай колбаски.

³ Непереводимое междометие (букв. что-то вроде «о господи»), употребляемое мозанцами в самых разных ситуациях, прежде всего в случае усталой реакции на что-то. Хотя черт их пойми, когда они что употребляют.

⁴ Даст бог (моз.).

- Ты уверена, что она халяльная?
- Че ж так скучно.
-
- Молодой человек! А это у вас какая модель?
- Андроид же, да?

Альберт, внезапно обессилив и ощущая волны накатывающей астмы, отрицательно покачал головой. Спасительно завибрировал телефон.

Письмо матери

- Энием⁶, я в поезде, все нормально.

Челубей и Пересвет

Три последующих часа прошли для Альберта в синестетическом бреде, в котором ослепляющий цыганский гомон мешался с духотой второй полки, запахом колбасы и бодрым хрипом радио. После одиннадцати внезапно, как это обычно происходит в русских поездах, выключили свет. Альберт, уставший от неподвижного созерцания багажной полки, облегченно выдохнул. Он был уверен, что вместе со светом растворятся в пыльном воздухе колбаса и радио, а цыганы немедленно заночуют в изодранных шатрах.

Радио действительно замолкло, но вот чудовищ внизу стало как будто больше. Протирая вечно запятнанные очки краем футболки, Альберт, сощурившись, озирает поле недавнего боя. Вместо васнецовских богатырей лежали уже не скрываемые бутылки. Ошметки гастрономических изделий покрывали стол, сиденья, пол и даже окна. Победители, тяжело дыша, обнимали поясничными складками стены. Альберту тоже было трудно дышать – пыльные матрасы дразнили его астматические легкие.

Мучительно искривляя тело в немыслимых акробатических приемах, он перевернулся на живот и прижался лбом к холодному поручню. Теперь батальную картину пересекала супрематическая линия.

Супрематизм показался ему недостаточным снобизмом, и он на всякий случай вспомнил про копыя Веласкеса.

Среди знакомых цыганских лиц вдруг обнаружилось новое, неправдоподобно русское, каких на Руси уже не встретишь. Сплюсненно-кривое, почти парсунное, наспех насаженное на раздутое тельце, как у

⁵ Зд.: сынок (моз.).

⁶ Зд.: мам (букв. «Моя мама», моз.).

толстопузого монаха с советских плакатов. Когда глаза Альберта, преодолевая линию поручня, обнаружили монашка, тот уже сидел, как говаривал Тристрам Шенди, на своем *коньке*. Он говорил о России.

Напротив него, разделенный полем столешницы, восседал Челубей. Прочие цыгане вальяжно разложились по разные стороны баррикад и ждали поединка. Нечисть сдержанно гоготала. Андрогини поворачивались то одним, то другим боком. Узкоглазая Будда возлежала на верхней полке напротив Альберта и мрачно одобряла действие. В закутке по соседству храпела сраженная проводница.

– Двенадцать уже, черти. Ложитесь, – приказала Будда. Ее не услышали.

Челубей, ословело клевавший ястребиным носом (на столе уже открыто стояли «путинки»), вдруг встrepенулся и устремил грозный взгляд на толстопузого монаха.

– А ты че здесь расселся? – спросил он. Ты зачем здесь сидишь и существуешь, спрашивал его грозный вид. – Вали к себе. Все, шабаш.

– Шабат, – захихикал безъязыкий прежде башкирец, намекая на день субботний. За длинными волосами у него не было видно ушей, будто отрезали.

– Не, а че... а че? – набычился монах, как видно, уже причастившийся «Кагором». – Нельзя шоль?

– Отваливаемся мы, – загундосил Челубей, избегая баш-на-баша с Пересветом.

Монах, насупившись, не поверил и указал на тот несомненный факт, что никто еще даже не прочитал намаз.

Намаз-камаз, хмуро ответил Челубей, известный любитель лексической редупликации.

Пересвет надулся и, вспомнив прежние обиды на челубеев народ, начал многословно жаловаться. Просеяв его речь, Альберт понял, что засилье золотоордынцев помешало ему получить крутое место.

Челубей, поразмыслив, согласился, что местничество в Мозани действительно процветает, но вписывается в логику истории. Все-таки ведь лучше так, чем как в Грозном, добавил он.

Пересвет в ответ выразил некоторые сомнения как в логике истории, так и в самобытности мозанцев, особенно после Грозного. Прозвучало, прозвенело, прокатилось страшное слово «импотенты».

Челубей повел себя достойно. Не мечом, но словом изматывал он телемского монашка. Здесь вечный парадокс Греции и Рима, загадочно

молвил узкогрудый кочевник. Ведь, как известно, Рим захватил Грецию, но Греция покорила Рим.

Ох и словоблуды же вы, подумал Альберт.

Неочевидно, засопел Пересвет, напрягая лобовые морщины. Какое вообще отношение к нашим народам имеет эта максима? Мы что, читаем на мозанском? В общем, из-за такой херни я и переезжаю из Мозани в Москву.

Челубей коротко отвесил что-то в том духе, что, мол, туда тебе и дорога.

А ты сам-то чего тогда на сонаправленном векторе, вновь забычил Пересвет.

А иди ты на хер, резюмировал свою восточную мудрость Челубей.

Нечисть сдержанно загудела. Им надоела словесная перепалка, и ужасно хотелось куреша. Мы поглядим, как смертный бой кипит, читалось в узких глазах андрогинов.

Пересвет перехватил поудобнее «путинку», к которой удмурт привязал несколько чайных пакетиков на манер кистеня.

Челубей путал историю и грозил из своего угла пластиковой вилкой, готовясь поднять супостата à la партизан двенадцатого года.

Наконец, безъязыкий башкирец сунул каждому по стопке и остановил кровопролитие. Монашек убрался к себе в аббатство, бубня под нос, что Угра лучше Дона. Батыр согласился, что Куликово поле ничего хорошего, кроме Блока, не дало.

– Спать, – провозгласила откуда-то сверху Будда.

Шабаш бесславно окончился.

Альба

Перед самым рассветом Альберта в очередной раз разбудил храп башкирца. Поезд упорно стоял на станции и не двигался, вагонный воздух тоже застыл, и заснуть было нельзя. Чтобы убить время, Альберт отправился в туалет, хладнокровно переступая через части тел, как в трафаретных фильмах про трафаретную войну.

Свет за дверью то появлялся, то скрадывался, словно что-то большое билось о стекло. Глухой шум сосредоточенной возни.

Решив, что цыгане продолжают идеологические споры, Альберт хотел развернуться и пойти в противоположный туалет, но его уже заметили с той стороны.

– Хватит, Мить, тут уже чмо какое-то проснулось.

Усталый, злой женский голос. Хлопнула дверь тамбура.

Ах, кто же ты, что под покровом ночи подслушал тайну сердца.

Альберт, выждав минутку, открыл со страшным скрежетом дверь, пнул в сторону резиновую гадость и зашел в туалет.

Станция Арзамас

Цирцейха уже не спала и осоловело глядела в окно. Альберт зачем-то спросил у нее:

– Это какая станция? Долго будем стоять?

– Да хрен знает какая, техническая. Не должно было быть уже остановок, чет баламутят. Потом будем нагонять.

Он кивнул и ушел обратно в тамбур, стараясь не глядеть на артефакты любви. За окном медленно рассветалось, и странность времени, как обычно, баламутила организм и мысли. Альберт вздохнул и послушно прислушался к памяти. Она, как протез, позволяла думать о предстоящем.

Взять хоть этот мозанский поезд, уже раз десять мотавший его туда-сюда. Даже цирцейха была из знакомых. И каждый раз он обещал себе взять one way ticket, и спрятаться в Москве, и там что-то оправдывающее найти. Но в итоге каждый раз ехал в сторону Мозани.

Полутемная станция становилась все отчетливее, как воздушный шар в чудо-линзах авторефкератометра. Воспаленные альбертовы глаза наконец смогли прочесть невзрачную табличку на перроне. АРЗ-7.

На мгновение в памяти мелькнули Арзрум и российская граница, опережающая царскосельского беглеца, но тут же ударило: Арзамас. Конечно, он ведь еще в то вступительное лето, разглядывая заветный маршрут *Мозань-Москва*, удивлялся, что Арзамас оказался где-то между ними.

Много позже он будет подрабатывать в дядковском проекте. Писать о машинке для предотвращения шуток. Ее придумал один варшавский поэт, чье специфическое чувство юмора давало трамваям восьмой номер и гробило молодых людей.

Тут шутки другие, пушкинские, причем скорее дядины. *Площадь Разгуляй, дом-музей Василия Львовича Пушкина*. Здесь тоже иногда подавали арзамасских гусей. Остановка прямо перед Университетом.

Пушкинские шуточки и ужас яснополянского старца.

Оценить второе он смог не сразу. Да и история с Федором Кузьмичем всегда вызывала легкую тошноту, раздражая одемьяниванием. Уж лучше струфианы и марсиане, чем все это опрощение. Как-то, еще пару лет назад, он записал самодовольной ручкой в дневнике, что преодолеть бытовуху

поможет только осложнение. Потом что-то сходное доверил Гинзбургу или кому-то еще.

Нет уж, примите меня в общество безвестных людей, омойте меня водой Леты, дайте мне другое имя. Я тоже хочу быть при свете Светланы. Могу быть Тогенбургом и кричать на манер Раммштайн *Sehnsucht*. Или пилигримом во власянице – помните, братья-друзья арзамасцы, как, молчанье храня, я пришел из своей далекой и стремной отчизны? Черт, что-то напутал в метре. Аль акыном во стане русских воинов, что скажете? А, блин, только баллады ведь можно.

Дверь приоткрылась, и в туалет проскочил, подозрительно косясь на Альберта, заспанный удмурт.

Цирцея за его спиной – где-то вдали коридора – смотрела долгим, долгим взглядом.

Вслед за удмуртом вплыл на кресле андрогин – не тот, с печенежескими корнями, а, на минуточку, сам наставник цесаревича. Прямо с брюлловского портрета, даже ручка кресла та же, и ладони мудро скрещены на колене. Но проступал на широком романтическом лбу кокошник той же кисти, и белые бусы на голой шее, и томный взгляд спящей девы, и дух святок посреди июля.

Светлана: Его превосходительством мною в год 203-й от сотворения Арзамаса, в день тридцатый от начала чемпионата мира открывается неординарное заседание Общества.

Узкие стены тамбура космически раздвинулись. Туалет с запертым удмуртом отодвинулся на несколько световых лет. Перед глазами Альберта проходили тени почтенных мужей, разодетых фантазией не хуже красавчика Браммела.

Кассандра: Я постучал к нему в клозет, дрыхнет собакой. Надеюсь, не утонет там, как Барков.

Все (расползаясь по тамбуру): Тише, тише, опять накличешь.

Громобой (цитирует): Жил грешно и умер смешно.

Светлана (проглядывая списки нобелевских лауреатов): Ну, m. Tambourine man, что вы хотите сказать многоглубокоуважаемому собранию?

Альберт (на память): Вид столь почтенного Ареопага достаточен к изумлению оратора.

Громобой: Пьянствую, но согласен.

Веничка: И немедленно выпил.

Все: Иди, Веничка, иди. Это не тот поезд.

Веничка (прислонясь к стенке и зажмурясь, чтобы не так тошнило): Это вы опять, Ангелы Господни?

Старушка: Уходи, Веничка. Ты уже сам по себе панихиду справил, это противоречит Уставу.

Армянин: Вг'ешь, шельма, а с Гг'омобоем как было?

Веничка (пьяно вглядываясь в лицо Старушки, разражается болезненным хохотом, хватается за горло): А, и вы тут, товарищ нарком просвещения? Самодурство, левославие, народно-смеховая культура? О, пустопорожность! О, звериный оскал бытия! (уходит)

Светлана (стучит эоловой арфой по стенке тамбура): Продолжаем заседание. Если Альбрехт...

Альберт: Альберт.

Светлана: Альбрехт.

Альберт: Альберт. Мозанское имя.

Светлана (с сильным немецким акцентом): Если Альбрехт...

Альберт: Да хоть матушка Кураж.

Светлана: ...присоединиться к почетному Обществу (кое желание было услышано всеми присутствующими), то, согласно Уставу, он должен прочесть панихиду члену Беседы.

Альберт: Гнев Господень да поразит меня вечною проказою и юродством славянофилов. Память моя да исчезнет с лица земли без шума; да будет забвенна на веки и с моими писаниями: и да не будет им воскресения. Аминь!

Все: Опять автопанихида?

Альберт: Могу в третьем лице. Он был скифом, жил в степи, ел конину и поклонялся богу безликому. Он страдал узкоглазостью, соблюдал придуманные национальные традиции, дрался подушками на Сабантуе и был почтителен к старшим. Он читал скудно и без разбора, слушал рэп и писал рассказы с моралистическим финалом. На столе он держал канарейку и скифскую матрешку с лицом президента.

Старушка: Попрошу не касаться политических тем.

Альберт: Он не касался острополитических тем и историю знал по советским учебникам. Его пугали стихи без рифмы и басни без морали. Он любил посты Вконтакте с народной мудростью, верил анекдотам про жидов и рано начал мастурбировать на постеры из журналов брата. Ему нравились крики «Без булдырабыз!» и популярные фильмы на Кинопоиске.

Все: Смерть ему!

Светлана: Смерть.

Альберт: Отрекаюсь от него и принимаю новое имя.

Какое имя? Вопрос застыл на поджатых губах арзамассцев, и Альберт наморщил лоб, и фантазия дала сбой. И тут же кресло Светланы подплыло к нему вплотную, и резко постаревшие губы яростно зашептали ему в ухо.

Яростный Шепот: Не будет тебе имени, сноб вонючий, пачкун проклятый, сморчок короткобрюхий. Что, если убрал матрешку со стола и запрятал постеры братца, то сразу в Общество тебя принимать? Снобство позволяло выживать в Совке, здоровое снобство питало мандельштамоведение, так тебе объяснили в Университете? А ты – сноб-паразит. Диссидентом хочешь быть, интеллектуальной фрондой. А по отношению к чему инакомыслишь, друже? Диктатура какая-то склизкая, вместо занавеса занавеска, с хреновым сыром все же прожить можно, а для войны с мельницами Минобра не хватает донкихотства. Хочется тебе быть старым евреем, хочется принести итальянской синьоре, фашистскому отродью, холокостные стигматы. Хуй ты заплатанной! Исходишь тут в туалетном тамбуре тягостными сомнениями, но даже великий и могучий тебе чужой. Все тебе чужое, и везде ты незванный гость и самозванец. И имя тебе я не дам.

Ахилл (спесиво): Разве что – паладинов Слуга.

Альберт: Да-да, не кавалер, а Кавалеров.

Все: Опять умничает, свинюк!

Сверчок (автоцитата): Сказал – исчез. – И здесь, друзья, окончилась баллада!

Тени готовятся расходиться.

Светлана (оборачиваясь): Посадите его на поезд в сторону Мозани.

Entzauberung

Дверь туалета распахнулась и больно ударила Альберта в плечо. Вывалившийся удмурт обматерил его на своем скифском языке и побрел в отсек, не обращая внимания на почтенное общество.

По пути он лениво спросил у застывшей цирцеихи:

– Мы, бля, где?

– Мы, бля, на станции Арзамас, – автоматически крикнул Альберт.

Проводница грузно повернулась к нему.

– Ты совсем, штоль? Арзамас сто лет назад проехали, он часов в десять был. Это техническая какая-то.

Светлана: разводит руками.

Все: переглядываются.

Удмурт подозрительно уставился в окно, считал табличку и резюмировал:

– А, бля, завод авторемонтный. Так бы и сказали, а то гоните тут.

Звук изумления единодушно излетает из арзамасских уст. Светлана посередине распростерла руки; по правую сторону упал к подножию кресла вечно пьяный Громобой; за ним, у края тамбура, потерялась Старушка; по левую сторону: Вотрушка наклонил свою дядью голову, Ахилл обезумел, Кассандра как будто прищептывала: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»; прочие арзамассцы застыли столбами.

Сверчок: Ну что, сколько времени прошло? Полторы минуты есть?

Ахилл (любопытно): Вечность.

Светлана: Пойте: многи леты!

Занавес закрывается.

Прибытие поезда на Мозанский вокзал

Диагональ пространства разрежала стрела поезда – и засуетились дамы в шляпках, и зашныряли юноши во фраках, и зрители в ужасе отпрянули от железной громады.

Ничего этого не было: на самом деле шел 2018 год от Рождества Христова. И уже сто лет бороздил русские земли бронированный поезд льва революции, и никто ему не удивлялся, и никто ничему не удивлялся. И никто не пел вослед последнему вагону: *поезд врезался в древние скалы*. Пели иные песни.

То был Мозанский вокзал, а с соседнего отправлялся поезд другого льва – впрочем, и тот лев был зеркало русской революции: так гласил Ленинградский, отправляющий составы в прошлое. Фирменные вагоны «Льва Толстого» бомбили непокорную Финляндию; и как, право, жалко, что станция Обдираловка (с 1939 г. – Железнодорожная) осталась в стороне их маршрута!

Ну да хватит, хватит – Альберт уже спускается по ступенькам, поправляя лямки своего потертого рюкзака, и подслеповато (яркое солнце) ищет гигантские буквы «МОСКВА МОЗАНСКАЯ», но их там нет.

Московские углы

Приезд всегда его разочаровывал: ни тебе больших букв «ГОРОД ГЕРОЙ-ЛЕНИНГРАД», как в Питере, ни чего-нибудь специфически московского. Только баулы, баулы, баулы да километровые очереди в метро.

Еще до метро к тебе пристанут носильщики и хмурые таксисты, не согласные мириться с засильем Убера и Яндексa; в подземке встретят тебя невыгнанные бомжи и лишь изредка флейтисты да скрипачи; спустишься ниже – и невкусные запахи еды в ларьках, и другие ларьки, с портретами президента и детективной макулатурой, и одутловатые милиционеры, прикидывающиеся полицейскими, и тоскующие тетki у эскалаторов, и стертый страх терактов, и подземный мир. И долго не встретишь ты русского лица в столице всея Руси, и не крикнешь ты сквозь поджатые губы: «Понаехали!», ибо – и ты, и ты понаехал, друг мой, даже если родители твоих родителей имели прописку в белокаменной, даже если не выезжал ты никогда за пределы МКАД и жил и умер под звон сорока сороков.

Но это если спустишься, а Альберт все топтался у входа в метро, думая, куда именно ему поехать. В какую сторону кольца.

Первый вариант – самый простой: в общагу. Хотя бы кинуть вещи. Надеяться, что соседей нет.

Второй вариант – к ней. Возможно, она одна. Все равно к двум к ней, там заедет ее дед, экскурсия по городу для гостей столицы. И там, и там люди.

Варианты с ребятами и женскими именами Альберт отмел; меньше всего ему хотелось говорить, а везде пришлось бы сказать хоть что-то. Даже с Валентиной. Оставался последний вариант – не ехать никуда, побродить по Москве и перекусить в «Му-му» (на большее денег бы не хватило). Поеду на Чистые, решил он, а потом уже в общагу. К ней – потом.

Пока Альберт мучительно выбирал (он не умел делать выбор), перед ним выстроился китайской стеной ряд улыбающихся объективов в одинаковых кепках. Стена делегировала главного толмача, и тот, дождавшись взгляда Альберта, что-то добродушно залопотал английскими звуками. Послышалось что-то вроде *I beg your pardon*, но ведь они стояли у Мозанского вокзала, а не в Мэрилебоне.

Как же так, опешила культурная память. Ведь все знают, что легче разговаривать по-английски шри-ланкийца, чем китайца. А этот доблестный сын Мао шпарит не хуже проверяющих на IELTS. Нужно было что-то ответить, но сознание немедленно отвлеклось на мир вокруг, как это бывает на языковых экзаменах: *запах многодневной мочи – степенная немецкая речь кого-то из прохожих – неестественные улыбки полицейских – сдержанный мат бессонных таксистов – как же тянет лямка рюкзака – машины гудят где-то снаружи – солнце жарит – хочется в душ – интересно, сколько стоит платный туалет в метро – кто придумал звук сигнализации*

Китаец завершил свой спич и всем улыбающимся видом просил алаверды. Альберт понуро смотрел на него, думая, как ответить столь же изысканно или хоть что-то ответить. Живот сжало от древнего страха толмача, память молчала и только дразнила обрывками чужих языков, свой же язык засох во рту и не ворочался. В ужасе Альберт пытался поднять его к небу, но небо было далеким, как небо, и не было звуков, даже бездумного мычания не было, и улыбка на китайском лице становилась все напряженнее, а добродушность уже душила его викторианской рукой.

Наконец, подошла какая-то бойкая девушка в волонтерской футболке, с дежурной улыбкой показала дружественному народу путь, презрительно покосилась на Альберта и исчезла вместе с интуристами.

Чувствуя себя оплеванным, Альберт уже безо всякого желания спустился внутрь подземки, и тут же московская гуща поглотила его. Слева было каменное плечо, справа – бескрайние поля дамской шляпки, сзади напирали тупые носы огромных туфель, спереди же грозили альбертовой голове страшные острия лыжных палок, неведомо что делавших в июльскую жару. Альберт вперил бессмысленный взгляд на свои потрепанные кроссовки, подстраивая шаг под интуитивный ритм подземной толпы. Его глаза заинтересованно следили за развязавшимися шнурками, желая им попасть под подошву отчужденной ноги и сбить этот машинный такт.

Прошли стеклянные двери, отбросили к стенам замешкавшихся бомжей, загрузили, матерясь, чемоданы и сумки на подвижные ленты, откозырнули доблестным полицейским и встали в гигантскую очередь к кассам.

Альберт с победоносным видом потянулся к социальной карте -- рука его уже оттопырила край джинсового кармана -- радость преимущества раздвинула уголки его губ -- нейроны памяти соединились в узел фразы «срок действия исчерпан» -- страх, злость, черная зависть исказили его лицо - - покорно встал он в очередь к кассам. Как любой приезжий смертный.

Подмосковье

Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – *Красные ворота*.

Мощная волна подхватила утлое альбертово суденышко и кинула его в середину вагона; замки рюкзаков врезались ему в лицо и оставили на нем боевые борозды; под дых ударил чей-то острый локоть; сочный мат ублажил ему слух в буре; кончился шторм, и последним порывом выбросило его в

чудом освободившееся место. Альберт покорно занял это пространство, стараясь быть меньше себя, и попробовал оглядеться.

Поле сражения было ужасно. Помятые тетки, понурые лица, недоброжелательные взгляды, подземные мелкие хищники. *Подмосковье*, подумалось ему.

И ни одного симпатичного женского лица, эх.

Короткостриженная девушка рядом уловила непотребные мысли и смерила его таким взглядом, что Альберт сконфузился, отошел подальше и, достав айпад, поскорее уткнулся в него.

Наушники, где наушники -- а, вот -- черт подери, опять запутанные -- все, блаженство.

Альбертинка 58-ая (отрывки)

Из записок Арона Гинзбурга

Я москвич в черт знает каком поколении – когда-то я все это выписывал, но сейчас помню только, что мой прапрапрадед был приживалой в доме Мусина-Пушкина и пытался спасти из французского огня хоть что-то из рукописей. Конечно, это семейная байка, вряд ли бы он так спокойно остался в доме при Наполеоне.

Корни мои, если не восходить к Ною, плутают где-то на одесских улочках. Я так и не побывал в Одессе, хотя мечтал с детства – это имя в доме звучало не менее обетованно, чем Ерушалаим. Дряхлый дядя Ося, помнящий белогвардейскую Одессу, выступал у нас пророком, а несмешные его анекдоты – скрижалями.

Нет, я еврей омосквевший. Хоть вставай рядом с Шуфутинским и пой все эту белиберду – *я родился в Москве* и дальше по тексту.

Пока не забрали отца, мы жили в большой многокомнатной квартире в самом центре, прямо на Красных воротах. Я ничего этого не помню, только по рассказам сестры – сейчас и самому не верится. Потом все комнаты очень быстро отобрали.

Но Красные ворота до сих пор для меня страшно соединяют семейное и государственное, *красное колесо* крепко по мне проехалось. Интересно, какое имя дать этому советскому Шоа, след которого несут на себе даже мои внуки – а они-то родились уже после распада. Пытался его как-то назвать Солженицын, но не шибко вышло. Как и с изначально обреченной книжкой *Двести лет вместе* – сейчас даже стыдно, что я его консультировал.

Нет, друзья, к черту красные колеса и ворота, я вам рассказывал совсем о другом <...>

<...> Я изменил ей черным сентябрем 72-го года.

Снова Олимпиада, как в день ареста отца.

Когда просочилась первая информация о захвате заложников прямо в Олимпийской деревне, прямо после «Скрипача на крыше», мы долго не могли поверить своим ушам. Опять еврейская кровь на германской земле.

Тем вечером мы страшно поссорились. Она говорила о прощении, а я кричал, что «Моссад» должен пришить каждого, кто с этим связан. Достать из-под земли, как Эйхмана.

Тогда я не мог слушать слова о прощении.

Наговорил каких-то грубостей и, кинематографически хлопнув дверью, ушел. Я знал, куда ехать, хотя еще не приезжал к *ней* за этим.

На следующий день операция горе-снайперов провалилась, заложников расстреляли прямо в вертолетах, а я не вернулся домой.

Когда отец узнал имя моей любовницы, он тяжело посмотрел на меня и сказал:

– Не еврейка.

Это для него было тяжелее туберкулеза.

Грязные пруды

Гинзбург – неожиданно поменявший стиль – опять захватил его, свежий пост накатался всего за две станции (благо поезд опять долго стоял в перегоне), но ему было этого мало. Не обращая больше внимание на подземных обитателей, Альберт взлетел с планшетом в руках по медленным ступенькам эскалатора, толкнул стеклянные двери, выбежал на улицу и, едва не угодив под старенький трамвай, примкнул под Грибоедова.

Если бы он не был так поглощен альбертинажем и, как обычно, забрел бы в Википедию, то непременно доверил бы Гинзбургу память о том, что здесь, на месте Грибоедова, стоял с месяцок футуристический анархист Бакунин, и шарахались от страшного Бакунина лошади извозчиков, и полетела шальная голова в грязную воду прудов. Но не зашел Альберт в Википедию, и не стал Гинзбург этого писать.

Альберт тем временем, переглядываясь с Молчалиным на пьедестале, раздал интернет с телефона и вернулся к травматической памяти.

И весело дребезжал рядом чистопрудный трамвайчик, и влюбленные москвичи назначали свидания под Грибоедовым, и подглядывали за ними барельефные человечки.

Альбертинка 59-ая

Из записок Арона Гинзбурга

Когда-то в незапамятные времена я был проездом в Автограде, довольно крупном сейчас городе в мозанских краях. Кажется, даже втором после Мозани, но все-таки – глубинка, провинция страшная.

Этот город какое-то время носил имя Брежнева и всем представлялся бровастым и гнусавящим, но я угодил туда еще раньше, когда только-только зародилась в светлых умах урбанистическая утопия. *Здесь будет город-сад* – с опозданием на полвека.

Затея была очень простая: взять да построить на Каме город из ничего и создать там величайший в мире завод грузовиков, чтобы выигрывали она всякие Дакары и славил уместность советскую. На эту всесоюзную стройку набились десятки и даже сотни тысяч уставших людей, надеющихся хоть здесь получить квартиру. Строишь – получаешь, все понятно. Правда, сначала пару лет поживи в холодном бараке, натурально в пустом вагончике. Однако ничего, валили скопом. Шутка ли: в семидесятом жило здесь от силы тысяч тридцать человек, а уже к середине восьмидесятых – до полумиллиона новоиспеченных автоградцев.

Ничего из советской утопии, как обычно, не вышло: задышал завод на ладан, потому что не нужно было никому столько грузовиков, а автоградцы спились. Дакар грузовики послушно выигрывали, но это тоже никому не было нужно.

Много позже реквием Брежневу написал один мозанский писатель, а Автограду – никто не написал, потому что Автоград изначально был придуманным и умереть, следовательно, не мог.

Но еще раньше передал мне мой автоградский приятель одно сочинение – то ли короткая поэма в прозе, то ли самодельный эпос. У меня одно время были связи в ЭКСМО, он, видимо, надеялся его куда-то тиснуть. Конечно, это никуда не прошло, да я и не пытался, тем более что приятель тот, по злой иронии судьбы, попал под колеса грузовика (правда, не Камаза). Не знаю, будет ли вам интересно, но все же занятно, хоть и с

длиннотами. Я плохо знаю русскую провинцию, и Бог меня упаси от нее, но так вы хоть что-то узнаете. Впрочем, для этого достаточно прочесть Гоголя. Опубликую следующим постом.

Альберт вдруг запереживал и начал яростно кусать ногти на обеих ладонях. Девушки, сидевшие рядом, переглянулись и захихикали.

Палишься, черт подери, расвирипел Альберт. С чего бы Гинзбургу, москвичу в тридесятom поколении, сыну Израилеву, приводить эпос об Автограде? И что за преамбулы и реверансы издательские, достоевщина журнальная?

Надо бы создать отдельный аккаунт и придумать типичного автоградца, но уже нет времени. Да и получится в лучшем случае новый гриппующий Петров.

Ладно, черт с ним, эти немцы сожрут и так. Они привыкли к сказкам.

Альбертинка 60-ая

Сага об Автограде

Здесь будет гигант автомобилестроения и город в сотни тысяч людей.

Из разговора

Оркестр пионеров, отделившись, заиграл музыку молодого похода.

А. Платонов «Котлован»

Волны съедали узкую полосу суши, и ревела, пенясь, река, и стонала истязаемая земля, и не давалась Гея Нептуну, и не соглашался тот отступить.

Но вот прошли века, и успокоилась река, и выброшен водой последний материк. Обнажилась плодородная почва, и услышался в воздухе первый вздох живой твари.

Посмотрел Бог на дело рук своих и рече: хорошо весьма. И посмотрел он на реку: буде она Кама.

А что значит Кама, о Бог, спросил один из неразумных архангелов.

От слова КамАЗ, величайшей машины во всей вселенной, способной преодолевать пески, и море, и космическую пыль, и самое время, ответил Бог.

И архангелы поняли его.

А люди не поняли, потому что пока не был сотворен Адам из праха, и не обольстилась Ева, и не рассказал о том Мильтон, и, самое главное, не изобрели еще колесо. А было все еще до того.

Но вот сотворился Адам, и обольстилась Ева, и рассказал о том Мильтон, и создал румын колесо, и пригодилось оно много где: в ирригационных сооружениях; при строительстве пирамид; в мифологии и религии. Катилось колесо по всему земному шару – и накатало, как снеговика, европейскую культуру – и открыли миссионеры африканцам, индейцам и австралийцам, что есть колесо – и стало от трения культуры и перемалываемых тел то колесо красным – и покатилося, покатилося, покатилося по степям и горам, пока не докатилось до Поволжья.

Худо было Поволжью: был здесь голод страшный, люди ели людей, а нелюди потакали этому и репетировали ленинградскую историю.

До того было еще хуже: то монголы наскочат да размахнутся своими кривыми саблями; то обвинят через века Татищевы да Карамзины во всем мозанский народ; то Лев Николаевич обзовет всех кавказцев мозанцами; то, чуть раньше, Иван-дурачок подъедет под самые белые стены да и взорвет их к чертовой матери, не придумав ничего лучше; а потом возьми да и не вырежи, не закабали, а присоедини к Руси и сделай татар мозанцами; то Державин здесь воскормится да начнет три штиля ломать; то опять Лев Николаевич нагрянет молодость свою кутить и из университета почетно вылетать; то Лобачевский надумает всяки разные геометрии и совсем помутит понятие поволжцев о пространстве.

Сложная, в общем, была история у Поволжья.

Ну а дальше все известно – революции, резолюции, галлюцинации и семидесятилетний бред. Голодали страшно, и вылезало меж костей родителей, похожих на детей, тощее поколение, в худое время родившееся: сосцы матерей были сухи, как не знавшие дождя скалы, ислам сложно уживался с

ревками, вместо детского сада бегали километры за углем, а молодость угодила ровно на сабельный поход, на рокот Люфтваффе и предательский трусливый призыв: *братья... сестры...* Братья и сестры с песнями и анорексией отправлялись в жерла мясорубки, и с ними плыло знамя с добрым, вечно знакомым лицом, лучшим другом всех братских народов.

Но вот слетел гигант с глиняными ногами, и засадили кровавые поля кукурузой, и начали в тарелки класть хоть что-то съедобное, поминая добрым словом ратные подвиги и Мусу Джалиля, мозанского героя, Челубея, павшего за советский народ. И крепла Мозань, и множилась, и обзаводилась памятниками.

Вот только не очень складывался здесь коммунизм – были герои-коммунисты, не было и в помине никаких капиталистов, даже бюстик Маркса куда-то пристроили, а коммунизма все не было. Пробовали и кулаков раскулачить, и попутчиков отвадить, и кресты с церковью посшибать (мечети трогать опасались), и вредителей обезвредить – ничего не помогало. Поговаривают, виноват во всем был один официант, рыжеусый мозанец, престарелым казановой подкативший не к кому-нибудь, а к самой Крупской. И до сих пор вспоминают в этом уважаемом ресторане, как Ильич побаг'овел весь на манег' этакого мухомог'ца, завизжал так тоненько, кулак впег'ед вытянул, бог'одку вытопог'щил по моде Гг'озного – да как закг'ичит: *Ужо я вас, мозанцев, спег'еди и сзади...*

И с тех пор пошел в Мозани какой-то кривой коммунизм, с нездоровой исламской помесью. Вроде и в тог'жество миг'овой г'эволюции верили, и в Аллаха, и в то, что за Моабитскую тетрадь можно голову под гильотину класть.

Всех это устраивало, но в один летний день – в году 1969 от рождества Христова – вышел из стен Мозани зрелый мужчина в длинной рубахе и уверенным шагом двинулся прочь от города. Глаза его были усталые и глубокие, преждевременные морщины говорили о его опыте, загрубелые руки – о его работе. Поговаривали, что он недавно вернулся из Праги.

На последнем взгорке, с которого виден еще был белый мозанский кремль, он обернулся к городу и погрозил ему кулаком.

Он шел один, неспешно рассекая пространство, и то послушно отступало перед ним, хотя вовсе не могучим был его торс. Медленно и важно вышагивал он поволжские метры и не обращал внимания ни на дождь, ни на ветер, ни на выжигающее солнце. Бескрайние поля и низкие холмы преодолевал он одинаковой поступью, и развевались от порывов его длинные черные волосы, и еще больше сощуривались узкие монгольские глаза.

И редкие прохожие приветствовали его: здравствуй, Великий Могол.

Говаривали, что все двести десять километров Могол прошел за один день, но на самом деле, конечно, ему понадобилось побольше. Так или иначе, он дошел до могучего притока Волги и остановился у самой воды. Долго Могол смотрел на нее, и вода оценивала его и, наконец, признала в нем господина.

И изрек Могол:

– Назовись ты Камою, в честь могучего КамАЗа.

И назвалась река Камою (второй раз).

Обвел Могол рукой вокруг и добавил:

– Здесь будет ГЭС.

И, послушные его слову, выстроились поверх реки мост, и стены, и станция. Электричество, вырабатываемое станцией, потянулось вдоль реки – по земле старого рыбацкого поселка, промышлявшего челнами и хлебом.

Могол подошел к одному из рыбаков, косящемуся со страхом и изумлением на нагрянувшую электрификацию, и взял его суденышко.

На этом челне Могол плыл по Каме, и вдоль его пути на берегу возникали диковинные пятиэтажные здания из бетона и любой строительной хрени, какая только подбиралась вокруг. Потянулись в реновационные жилища караваны народов из окружающих городов и деревень, и долго еще чесали мужики в затылке, глядя на унылый серый бетон своих новых домов. Но то были счастливые мужики: большая часть жила в бараках и вагончиках, ибо все же не везде успевал Могол.

Наконец, он сошел впервые на берег и, обращаясь к обступившим его горожанам, объявил:

– Здесь да начнется город великий Автоград.

А почему Автоград, спросили горожане.

Потому что будет смыслом вашей жизни могучий КамАЗ, потому что будете вы и дети ваших детей работать на автозаводе, и даже когда в 1993 году сгорит к такой-то матери завод двигателей и вам два года не будут платить зарплату, вы будете работать здесь за идею, ответил Могол.

Ну хорошо, согласились горожане. А что нас вдохновляет, что нас питает, что дает нам силу?

Коммунизм, молвил Могол. Я пришел к вам от лица Великого Автомобилестроителя, и мы построим во славу его самый великий грузовик и создадим славный Автоград.

Так построил Великий Могол Сидоровку, а поверх нее установил гигантскую надпись: «СЛАВА ТЕМ, ЧЕЙ РАЗУМ И РУКИ КУЮТ ВЕЛИЧИЕ РОДИНЫ». Сидоровка с надписью обветшала раньше времени, одряхлела, обросла гопотой и стали наводить страх на автоградцев, но все же они первыми слышали слова пророка.

От Сидоровки Могол шел пешком, потому что знаменитых автоградских трамваев еще не было. Он шел, и от стука его сапог вырастали леса и парки развлечений, а от кашля выбивались из-под земли бетонные дома и вагончики.

Следом выстроил Могол еще один страшный и дряхлый район, и когда попросили его назвать, бросил: ГЭС. Подивились автоградцы, но не сказали ни слова.

Перешел Могол речушку по строящемуся под его ногами мосту и оказался в еще одном бетонном районе. И вновь спросили его о названии, и снова услышали три буквы: ЗЯБ. Что-что, переспросили автоградцы. Завод ячеистых бетонов, ответил Могол.

Подбежал к нему маленький узкоглазый мальчик и что-то залопотал на мозанском. Могол посадил его к себе на колени.

Почему такие непоэтичные названия в моем городе, спросил мальчик.

Потому что все города направлены в прошлое, а наш – в будущее, ответил Могол.

А почему все дома здесь одинаковые и такие стремные, канючил мальчик.

Потому что это главный признак города коммунизма, произнес Могол.

Ну а зачем было делить все на ровные комплексы вместо петляющих улиц, не унимался мальчик.

Чтобы Великому Автомобилестроителю легче управлять вашими мыслями, пояснил Могол.

Так выстроил он все районы и каждому дал имя. Затем пустил трамваи и автобусы; хотел пустить метро, но раздумал. Наконец, город был готов, и юные горожане собрались вокруг Могола.

Тот, запыхавшийся от трудов, весь в поту, блаженно озирает дело рук своих. Удовлетворенно хмыкнув, он объявил:

– А теперь несите сюда свои деньги, свои силы, свою молодость, свой ум, свои книги, свое критическое восприятие действительности, свое умение мыслить и свою память о памяти.

Автоградцы немедленно принесли все требуемое.

Могол сложил все дары в пасть гигантской печи завода, и раздалось жуткое скрежетание, и показались из дыма чудовищные колеса невиданного еще грузовика.

– Теперь каждый из вас будет работать на этом заводе и кормить эту машину, и так наступит в Поволжье и во всем мире коммунизм.

Автоградцы немедленно согласились.

Загудела в бетонных муравейниках работа. Страшная машина росла с каждым днем – сначала она сломала крышу дворцового ангара, в котором ее держали, затем обрушила стены завода, наконец, встала в самый центр города, озирая оттуда труд людской.

Могол успел умереть, но памятник его всегда стоял на кузове Машины и следил за автоградцами.

Продолжалось так двадцать и два года, пока не прискакали к стенам великого Автограда гонцы из окрестных земель и не сообщили: пал Коммунизм, и Мозань пала, и вы падите.

Автоградцы хмыкнули и не поверили: они строили город будущего и не желали знать о мире. Вернулись они на завод, а гонцов на всякий случай четвертовали, потому что те были не мозанцы.

Однако появились первые усомнившиеся, погрузился Автоград в анархию, и резали за разрез глаз, и поплевывали уже в сторону Могола. Но завод работал и кормил Машину, а люди строили город будущего.

Прошло еще два года, и вдруг какие-то нероны подожгли Завод, и охватило пламя весь Автоград, и впервые бросили люди Машину и бежали далеко-далеко, к реке.

Очнулась Машина, и зажглись недобрым светом глаза Великого Могола, и чудовищные колеса начали вращаться с поразительной скоростью.

Будущее наступило, зашептали фанатики и сектанты (их в последние годы развелось немерено, как эндурцев).

Машина ничего им не ответила, молча съехала с помоста и покатила по городу. Бежали автоградцы, кричали истошно, обещали не бросать Машину и кормить ее, но никто их уже не слушал, и молчала Машина, и молчал на ней Могол. Хрустели кости автоградцев, и покорно ложились они под колеса, и катились они по их головам. Старики, женщины, дети – никого не щадила Машина.

Заперлись оставшиеся автоградцы под руководством бородатого муллы в мечети и долго там совещались с собою и с Богом. Молчал Бог и не показывался.

Наконец, вышел хитрый мулла, пал ниц перед Машиной и молвил:

– Прости нас, Машина, не оставим мы тебя больше, и будем строить город прошлого, и забудем о времени, и будем жить в прошлом.

И приняла Машина их жертву, и обратилось будущее в прошлое, и повернулись красные колеса прочь от Автограда.

И двинулись по городам, собирая обильную жатву.

Возвращение

Альберта вновь охватило раздражение. Никакой обещанной саги, никакой высокой пародии, одна пошлость высокопарная. Гинзбург такое не то что в ЭКСМО относить, а даже просто читать бы не стал, уже после объятий Геи и Нептуна. Состарившийся, как будто второй раз облысевший, эсер Шкловский относит статейку: *Искусство как полисиндетон*.

Альберт убрал планшет в рюкзак и с омерзением почувствовал, как его спинка прилипла к вспотевшей футболке. Голова раскалывалась от долгого сидения на ультрафиолете и мельтешения туристов. Бульвар был так залит солнцем, что не было видно ничего дальше своих ног, и дома по обеим сторонам стали ослепительным пятном.

Устав ждать, пока в потоке появится хоть какая-то брешь, Альберт рассерженно протолкнулся через толпу (раздалась многоязычная брань), кое-как добрался до турникетов и нырнул в спасительную тень метро.

В этот раз его тщедушное тело так сдавило между людьми, что о *Семисфере* не было и речи, придется заканчивать уже в общежитии. Ехать нужно было, по меркам Трифонова, к черту на кулички, для современной Москвы – почти что центр.

Привычно отсчитал положенное количество станций, поменял ветку, снова начал отсчет. Ничего, выдюжил.

Вышел, привычно огляделся: Пятёрочка, Магнит, Вкусвилл, Скупка золота. Дорого, Парикмахерская, шаурма, цветочный магазин, бабка с пыльными помидорами, человек в костюме хот-дога, грязные псы, обнюхивающие друг друга.

Все как всегда – за бульварным кольцом все тот же Автоград, сколько от него ни сбегай.

Не глядя уже по сторонам, перемещаясь на автопилоте, Альберт быстро двинулся в сторону общежития. Четыре поворота, три светофора, две вечные попрошайки, один старичок, всегда в это время семенящий к газетному киоску, – вот и дом родной.

Здравствуй, Итака, молвил он с тихим достоинством.

Бабка на входе царя не признала и заверещала с фирменной пронзительностью, требуя пропуск. Чувствуя, как снова накапливается раздражение, Альберт тщетно обыскивал один карман за другим, и страшная мысль об оставленном дома пропуске забежала холодной змейкой под потную футболку.

К счастью, карточка нашлась. Сфинкс, поворчав для приличия, отступил, и Альберт втиснулся в крохотный лифт, уже населенный тремя высоченными парнями. Ощущая нарастающую неуютность и нехотя соотнося свое тело с их торсами, он поспешно уткнул взгляд в техпаспорт лифта (всегда спасавший в это жуткое время поездки в коробке). Пока лифт осваивал вертикаль, Альберт продумывал возможные варианты.

Вариант А: комната пуста, можно сразу садиться писать.

Вариант В: в комнате только Санек, можно перекинуться парой вежливых фраз и замкнуться в ноуте.

Вариант С: в комнате кто-то еще, но об этом лучше не думать.
Выпал, конечно же, наихудший.

Общее житие

Как раз Сани в комнате не было, зато Лёня сидел на своей койке с пьяной до недоразумения девицей, Марат лежал над его головой и резался по локалке, а над кроватью Альберта невесть почему спало женское тело, никак не напоминавшее дородного Саню.

Кроме этих двухэтажных коек (*нар*, как их здесь называли), занимавших большую часть пространства, в комнате был только общий шкаф, три крошечных стола и два стула. Недостающую мебель обещали привезти уже с полгода.

– Здорово, – буркнул Альберт, брезгливо оглядывая почерневшие полы и ворох засаленных оберток.

Марат вместо приветствия махнул что-то неопределенное торчащей пяткой, продолжая крошить невидимых друзей. Зато Лёня в порыве неискренней радости бросился к Альберту, горячо потряс его руку и представил своей очередной пассии. Имя Альберт даже не стал запоминать.

Ему немедленно предложили выпить, он чересчур резко отказался и, переживая от этой нечаянной резкости, не смог выйти сразу, как планировал. Бросил на пол рюкзак, скинул с незастеленной кровати наваленный кем-то мусор и сел на простынь, хотя ненавидел, когда кто-то делал это в уличной одежде.

– Ты откуда? – из вежливости поинтересовался он у девушки.

Та была невменяема, и вместо нее поспешно ответил Лёня: студентка филфака.

– Че ты гонишь, с филфака я всех знаю, – не поверил Альберт.

Лёня уточнил: с философского. Сам он учился на неудобопроизносимом факультете с какими-то восточными уклонами.

Альберт присвистнул.

– Здорово. Жаль, что бухая, мне всегда хотелось поговорить с философом.

– Ты не смотри, что она сейчас такая, на самом деле она умная, а батя ее вообще учился у Мамардашвили, – попытался защитить пассию Лёня. Альберт не возражал.

– Пока она не нажралась, я все пытался выяснить, что сейчас делают после филфака (Альберта снова передернуло), – продолжил Лёня, громко зевая. – Зачем-то же он нужен универу.

– Для того же, для чего мой филфак. Чтобы быть универом, а не просто институтом.

– Ну вот с Саней все понятно, закончит универ и будет прогать для Яндекса. У Марата тоже все ясно: если не вылетит, то мамка его устроит к себе в юрфирму. Я буду обслуживать китайцев, – Лёня изобразил что-то непотребное. Потом добавил с неподдельной грустью: – А она будет бухать и пи**еть про Мамардашвили.

Альберту вдруг ужасно захотелось заехать Лёне по морде, но, наверное, только ради вшивой игры слов.

– С другой стороны, – продолжал гнусавить Лёня, меланхолично разглядывая грязный пластиковый стаканчик, – это не только факультетское. Печально я гляжу на наше поколение, Алька (Альберт поперхнулся). В бездействии состаримся, Алька.

– Во-первых, разговаривай как нормальный человек, то есть без цитат, – попросил Альберт. – Во-вторых, у нас даже чересчур много действий: переходы между метро и МЦК; переключения между соцсетями; ненужные апгрейды приложений; флешмобы; регистрация на онлайн-курсах; даже мусор теперь отдельно выкидывать модно.

– Дурак ты, Алька. Суетишься много. Я недавно спросил у Марыча: ты зачем, Марыч, существуешь. И знаешь, что он мне ответил? Да похер мне, говорит. И уткнулся, собака такая, в ноут.

– Лёнь, перестань, вылазь давай из родительского дискурса.

– Да я бы с радостью в него влез, кабы мог, а еще лучше в дедовский. Чтоб не нужно было ничего придумывать самому, а все за тебя придумано. Чтоб все понятно: вот фашюга, вот капиталист, вот батька.

– Я сначала решил, что ты берешь свои реплики из перестроечных фильмов. Теперь склоняюсь к диалогам в «Июне».

– Да-да, именно, ты прямо в точку, Алька. Вот висит предвоенный пузырь – и вот он лопнул. А теперь, даже начнись война, пузырь не лопнет.

– А ты, собака китайская, пострадать хочешь?

– Да нет, конечно, я же не мазохист. Мне просто хочется быть культурным человеком, а какая ж культура без травмы? Я всего лишь homo postsovieticus, и ты тоже, а эта сука наверху – нет, он продолжает в своей Аркадии жить, где все за него придумано.

– Ты ж пьяный был, какого черта ты со знаками препинания разговариваешь?

– А, вспомнил, – вдруг встрепенулся Лёня, плутовато поглядывая на Альберта. – *Валентина* заходила. Всюду тебя ищет.

– Пусть ищет. Я своей-то не успеваю ответить, о Вале вообще не вспоминаю.

– Понимаю, – закивал болванчиком Лёня. – *Nessun maggior dolore che ricordarsi... del tempo... del tempo...* – Лёня пытался подыскать слова, задыхаясь от смеха. – *del tempo inesistente*⁷.

Ты ж не знаешь итальянский, сволочь, забеспокоился Альберт.

А меня Рончик Гинзбург научил, мелко засмеялся Лёня и, сгорбленный, узкоглазенький, закаркал что-то на смеси итальянского и латыни, но Альберт его уже не понимал.

За спиной заскрежетал ключ в замке, знакомые тяжелые шаги пересекли комнату, и гигантская ладонь легла на плечо.

– Здорово, Алька, че киснешь? Твоя девка на моих нарах дрыхнет?

– Да вот этого, – буркнул Альберт и с обидой ткнул в лёнин бок.

Лакировщик действительности

Наскоро отвязавшись от Сани (тем более болтливой, что ложиться ему было некуда), Альберт быстро принял душ, дождавшись, пока оттуда выйдут другие студенты, – ненавидел, когда кто-то был рядом, – переоделся и двинулся обратно к метро.

Дневник оставался висеть, потому что на него не было времени.

На втором повороте завибрировал карман. Странно даже, что не еще раньше.

– Да, алло.

– Я тебе сто раз звонила. Ты скоро?

– Не видел. Как получится. Зависит от пробок.

– Ты же на метро, какие пробки?

– Меня подвезет Саня. Не могу говорить.

Альбертинка 61-ая

Из записок Арона Гинзбурга

Herr Pfeiffer, отвечаю на Ваш комментарий к одному из прошлых постов. Вы попросили меня рассказать побольше об университете.

Сразу скажу, что Вашего сына, хоть мы и жили, как Вы пишете, в одном здании, я не знал и вряд ли смогу помочь найти его следы.

⁷ Нет большего страдания, чем вспоминать о времени... о времени... о несуществующем времени (ит). В оригинале – *del tempo felice [nella miseria]*, «о счастливом времени [в несчастье]».

В общежитии вообще поначалу было довольно много немцев, из тех, чьих родителей сгноили на стройках и в лагерях, а самих до поры до времени не тронули. Многих из них *свалили* уже на старших курсах, когда была очередная чистка. Но они успели здорово поднатаскать меня в немецком, а как-то я даже праздновал с ними тайное Рождество в одной из комнат. Как за двадцать лет до того – Рубин на шарашке.

На истфак я попал случайно. Хотел на филологический – но сунулся туда сдуру напрямую, по своим же документам. Не хуже арийского сканера оценили пропорции моего лица, обнаружили в нем правильную давидову звезду, с широкой улыбкой пригласили в аудиторию и там благополучно завалили. Я был готов, конечно, не блестяще, но достаточно, и знал это. Однако ж завалить при большом желании можно хоть Лотмана. Когда я отбарабанил все, что они хотели услышать, о глубоком понимании народа у Пушкина и Некрасова, меня спросили, в каком году начала издаваться «Северная пчела». Самое смешное, что даже тут я ошибся лишь на пару лет, но меня все равно отправили восвояси.

Через год возвращаться туда же не было никакого смысла, даже с другими документами – меня бы узнали. О других университетах, куда вынуждены были идти мои единоплеменники, я не хотел и думать, но от грез о главном филфаке пришлось отказаться. А его историю я тогда знал назубок, даже сочинил восхвалительную поэмку, смысл которой сводился к тому, что отнюдь не случайно реорганизацией Университета решили заняться тогда, когда весь кремлевский бункер трясся от страха. Филфак отделился 4 декабря 41-го, и ровно на следующий день под Москвой началось контрнаступление. Тогда я любил такие игры.

С археологическим отделением все получилось куда проще: на древников всегда смотрят сквозь пальцы, лишь бы настоящее не трогали. Я поступил, не поверите, как *Владимир Бережнев* (документы достал отцовский друг, который мог достать что угодно) – навряд ли посмели бы не взять. Кроме того, по документам я был ленинградский и холостой, и мне даже дали общежитие. Когда я уставал от отцовских псевдохасидских сборищ или ссорился с женой, я ночевал там. Это случалось все чаще.

Я учился довольно хорошо, хотя куда больше меня волновали дела не столь минувшие. Но на раскопках было интересно, много пили и говорили.

Удивительным образом именно немцы вывели меня к подпольным сионистам. С виду обычная археологическая компания, кто-то из старших

даже успел поучаствовать в создании пары куплетов «Скифской баллады». Я всегда там болел за грека, за проигравших вообще болеть интереснее.

Не знаю, по каким документам все эти ребята попали в Университет – даже мое лицо не настолько выдавало, а у некоторых, не поверите, были пейсы. Чудеса. Однако ж занятия у группы были вполне серьезные: пробивали субботние пары, выискивали кошерные рынки, налаживали связь с другими сионистами. Через пару лет наша группа будет яростно поддерживать «свадьбу» Бутмана и Дымшица. В свое время это была очень громкая история: сионисты едва не захватили самолет, чтобы сбежать из СССР в Израиль. Не вышло. Мы тоже строили фантастические планы по захвату чего-нибудь летающего. Какого-нибудь пейсатого НЛО.

Тогда в основном мы занимались тем, что устраивали «темную» известным нам антисемитам. Мы были какие-то ужасно агрессивные, нам лестно было представлять себя советским отделением Моссада. Правда, вместо Эйхмана нам попадались довольно безобидные студентки (преподавателей трогать боялись), отпустившие пару шуточек про жидов. Дело заканчивалось поколачиванием, не более. Расклад десять на одного нас тоже не особо смущал, казалось, что большая история все это оправдывает.

Любые сомнения во мне заглушало перечтение *Дневника*; я давно обещал опубликовать оттуда отрывки и постараюсь сделать это сегодня же.

Правда, один раз я все же сделал доброе дело. Ребята хотели пойти на сходку «фашистов», то есть просто обычный вечер немцев, из тех, что они часто устраивали. О евреях никто из них даже не помышлял, но грехи отцов взывали к крови.

Я единственный был вхож в обе компании и как-то сумел убедить пойти бить кого-то другого.

Один из «спасенных» мной немцев позже и привел меня к отцу Александру.

Мужик-обкладчик

– Станция *Речной вокзал*. Поезд дальше не идет.

Всплыли откуда-то запорошенные матом строчки – *аменяблятьнеебет, ясюдаблятьижелал*. Память ничего не выдала, залезать в Википедию было лень.

В гинзбурговой шкуре раздражение немного покидало, но, едва пост отправлялся на орбиту Семисферы, возвращалось утроенным. Особо и людей-то в вагоне в этот раз не было, но бесило все подряд: название станции, застрявшие в голове строки, унылая платформа, необходимость идти к ней.

Гинзбургу хорошо, он у нас уверовавший, он у нас добрый самаритянин.

Кип калм, обратился к себе Альберт, провожая взглядом отправляющийся вагон. *Keep calm, carry on, а вредные стишки брось в окоп*, мог бы загундосить тоскующий по войне Лёня, но он дрых в общаге.

Пьяный от беспричинной злости, почти пошатываясь, Альберт двинулся к выходу. По пути он задел нескольких парней, специально не убирая плечо. Те недовольно заворчали, но задираться не стали.

На платформе лежал грязный красный мешочек, и Альберт с особым удовольствием пнул его в сторону. Ткань неохотно преодолела краешек пространства, но Альберту этого было недостаточно, и, чувствуя себя совершенно по-дурацки и от того раздражаясь еще сильнее, он допинал мешочек до рельсов.

Подождал поезд, высматривая, какая часть вагона может зацепить красную ткань и забрать ее за собой. Поезд уехал восвояси, а мешочек лежал целехонький, угодив в спасительную ложбинку меж рельсов.

В паре метров от Альберта стояла и внимательно наблюдала за его пинаниями полноватая, но красивая женщина. Заметив его злой взгляд, она быстро отвернулась и зашагала к другому краю платформы.

Ему страшно захотелось, чтобы она, перекрестившись по привычке, дождалась середины меж колесами второго вагона и прыгнула, прыгнула, как в холодную воду, и чтобы что-то потащило ее за спину, и обязательно мужик-обкладчик, говорящий по-французски, по-французски, по-французски.

Мирное гроыхание поезда приближалось почти одновременно со светом фар. Женщина нетерпеливо, с большим вниманием, чем обычно ждут усталые пассажиры, смотрела за этим светом, не отводя от него глаз. Альберт сразу же понял, что мешочек именно ей-то и обронен, и медленно двинулся к ней, постепенно оглушаясь шумом вагонов сзади.

Женщина уже его не видела, видя только поезд, потому что ослепляющий свет закрывал его фигуру, или ей было уже не до того (ей вообще было не до всего).

Альберт медленно вышагивал к ней и, прищурившись, смотрел: перекрестится или нет. Больше всего ему хотелось узнать, слышит ли она

французский бред мужика, или это уже он додумал. Мешочек-то точно был, он сам, сам его пинал, и хорошо это помнит.

В какой-то момент – женщина была уже совсем рядом, видны были подтеки на футболке и напряжение лицевых мускулов – поезд пошел совсем рядом, неумолимо, по праву машины, обгоняя.

Он вдруг вспомнил те двери в церковном приходе и *ее* дядю.

Альберт побежал, лихорадочно соображая.

Рот женщины раскрылся – с мерзкой вытянутостью, как у Мунка, и беззвучно, потому что справа грохотал металл.

Уже на бегу Альберт подумал то, что так не хотел думать: как хорошо и единственно правильно будет, если она все-таки перестанет ломаться и прыгнет, и кровь (должна ведь быть кровь, ее же будет перемалывать, а человек существо кровавое), кровь окропит его, и он будет переживать всю жизнь. И только тогда у всей этой сцены будет смысл.

Он остановился.

Doppelgänger

И закрыл глаза – это портило все, но он не мог не закрыть, как-то инстинктивно.

Тело его куда-то все же двинулось.

Колеса заскрежетали, что-то мокрое коснулось его кожи, тяжесть навалилась на его тело и уже не отпускала.

Сердце колотилось сумасшедше, «выпрыгивая из грудной клетки». Желудок сдавило, и он испугался, что сейчас «замарается». Когда-то он читал, что иногда перед смертью человек испытывает такой испуг, что непроизвольно мочится в штаны или чего похуже. А у кого-то в момент смерти возбуждается половой орган, и это особенно жутко.

Он вообще много всякой дряни в детстве читал, и это иногда всплывало.

Но это перед смертью – а ведь прыгнул не он, а она. Это она обмочилась, или возбудилась, или умерла. Эта спасительная логика – *и пускай не твоя жена, а его пусть будет вдовой*.

Нет, наверное, тот хилый очкастый студентик, что выбежал в последний момент и схватил ее, все-таки успел, и она жива. Господи, хоть бы так было, подумалось ему.

Он открыл глаза.

Он открыл глаза – как будто второй раз – и вдруг понял, что он сам и есть этот бледный студентик, и что на руках его в полубмороке эта полная

женщина с подтеками на подмышке, и что этот пот на пальцах даже приятно ощущать (уже позднее он вспомнит о Шолохове, но сейчас не вспомнил), и что очень тяжело ее держать, хорошо хоть не совсем она упала, немного держалась на ногах, слава Богу, сознание не потеряла.

Женщина пришла в себя, вздрогнула, выдернулась из его рук, уже почти готовых разжаться, бессмысленно осмотрела все вокруг, неосознанно оттолкнула его и двинулась к центру зала, где встретили ее другие люди, а его проводили недобрым взглядом.

Мысли об альбертинаже и других предметах

Ноги шли так быстро, что мысли не поспевали за ними, и когда ее дом показался на горизонте, он специально пошел на второй круг, как лайнер, которому не разрешили посадку. Он шагал, вышагивал и пытался оформлять мысли в предложения, расставляя там знаки препинания, как давеча спящий Лёня. Получались все знаки, кроме точки, она никак не ставилась в сознании, как когда пытаешься сказать себе «не думай ни о чем» – и в лучшем случае представляешь белый занавес, но и он колышется. Еще не ставились прописные буквы, но они вообще были штукой факультативной, не так ощущалось, как отсутствие точки

ты едва не сдох от страха, пока глаза были закрыты, и, честно (надо же где-то быть честным) – скобки он поставил намеренно, закругляя, закрывая мысль, – это был страх настоящий, не придуманный, не альбертинажный; ничего хорошего пока в этом страхе ты не почувствовал, только сжимает все внутренности, нет, это слишком перифразно, будем честными до конца – хочется в туалет, любая метафизика всегда переживается очень физически, об этом тоже нужно помнить, а ее дом так далеко;

хорошо, лучше буду думать о толчке, чем об этой карениной, надо представить толчок, из чего он там состоит – бачок, там урчит вода, кнопка смыва, сиденье, ериш, нет, врешь, ериш уже не часть унитаза, ну что там еще, подскажи, марсель дюшан;

господи, да на хрена ты ставишь эти запятые, даже тут врешь, после джойса думается, что думается потоком без пробелов – и обязательно с да на конце, но ни хрена, так, все, хватит – –;

немиров думал, что это он придумал, а это придумал воскрешенный икловским стерн, да, да, немиров, его речной вокзал перед ней, ней, не думать, не думать, немиров;

будем честными, главная проблема в том, что она похожа на каренину, но это не помогает;

воспринимать вещь как вещь очень страшно, как только я буду просто альберт-альберт, расин есть расин, то раскусят меня, сожгут нахрен, самозванным пеплом набьют пушку и выстрелят в сторону мозанского кремля;

все начала моя мама, она верила в приметы, и, когда, будучи беременной, уронила дома пруста, его никто из моих не читал, но он должен был быть, как должны были быть в советском доме сборники испанских новелл 16 века и прочее, так, вернемся в маме, там было придаточное времени, в глаза ей бросилась альбертина симоне, и она уверовала, что это знак, благо имя мое давно приватизировано мозанцами;

мозанцы приватизируют много и охотно, но верят, что это только их и сохраняет их национальную идентичность, вот только зачем я пытаюсь оформить мысли в сборник максим и афоризмов, издательство имени бульбазавра грасиана;

альбертина симоне придала мне что-то женское, странно даже, что я не разделил с прустом любовь к мужским рифмам, хотя ей я сказал, что у меня был один такой опыт, и так рассказывал, сжимая губы и напрягая лицо, комкая салфетку, что сам даже поверил и ощутил что-то исходящее de profundis, или захотел ощутить;

когда я завел вторую страницу вконтакте, еще лет в четырнадцать, это было забавно, можно было в графе информация поменять мозанское имя на человеческое, можно было, хихикая, поменять мужской пол на женский, можно было проверять девушек, можно было разыграть кого-нибудь (пару раз получилось), но это было скучно, и события бытия не происходило;

интересно, если бы на руках моих был не пот ее, а кровь, все эти лейкоциты и эритроциты, это можно было бы назвать событием?;

уже проще, уже восстанавливается, уже кровь разлагается на составные части, вещи чем-то замещаются, и, в принципе, я готов это пережить, зайти к ней, поболтать, рассказать, как прошел день, как чуть не угрохал тетку, нет, нет, рассказать, как воспылал ненавистью к приставке «дю»: дюшан, дюшес (сладкий), дюрекс и дюраселл (и там, и там – мерзкие крольчата);

пусть гинзбург расскажет, как ненавидит дюссельдорф, или там дахау, да, конечно, «дю» тут нет, зато есть китайские призывки;

все хватит я готов

Чего скрывать, будем до конца честными: Альберт, конечно, так не думал, мысли его были спонтанно спаривающимися нейронами, их расшифровка не представляет интереса. Впрочем, это ведь он, он пытался их структурировать и представить текстом, так что его бы это устроило, кроме абзацных отступов, но тут уж деваться некуда.

Главное же состоит в том, что, додумав вот это *«все хватит я готов»*, Альберт, пусть и не перекрестившись, но выдохнув, как перед погружением в холодную воду, нырнул в спасительную темень *ее* подъезда.

Домофон тут не работал с незапамятных времен, и никто особо по этому поводу не переживал.

Так что дверь к ней всегда была открыта.

Московский пленник

Цыганка, еще минуту назад лениво дремавшая на хозяйкиных коленях, вдруг встрепенулась и, спрыгнув на паркет, настороженно выглянула в темень коридора. Комната пахла знакомо и понятно – бесконечные полки книг, заваленная одеждой кровать, длинные, просящие укуса шторы посреди комнаты, непонятные Цыганке маски и статуэтки, возникающие после долгого отсутствия хозяйки. Из коридора же шел чужой, раздражающий цыганковский нос запах, мутный, дразнящий, требующий прояснения.

Она не ошиблась, как не ошибалась почти никогда. Уже через полминуты раздалась пронзительная трель звонка, всегда жестоко действующая на собачьи нервы. Цыганка утвердительно залаяла, радуясь своей правоте.

Хозяйка, последний час излишне подвижная и явно ожидавшая этого звонка, вскинулась с дивана – точь-в-точь как минуту назад сама Цыганка – и бросилась к двери.

Прямоугольник, пахнувший фальшивым деревом (интересно, есть ли здесь этимологическое родство, задумалась Цыганка), сменил положение в пространстве, искусственный свет проник в коридор, обтекая тощую фигурку.

Цыганка смерила ее презрительным взглядом и, издавая звуки недовольства и готовясь к атаке, двинулась к ногам вошедшего. Тот неуклюже попытался проявить ласку, но неумелые движения руки только раздражили ее, и она оскалила зубы, крепкие, как у волка, образ которого мучил ее ночами.

– Ну, ну, Собакевич, – слишком высокий голос с едва уловимым акцентом. И эти неумелые шутки, такие же неуклюжие, как ласка.

– Я столько раз просила тебя не называть ее так, – Цыганка на всякий случай сжалась, пугаясь такого голоса хозяйки. – Потренируй свое сверхинтеллектуальное остроумие где-нибудь еще.

Узкие плечи пожались.

– Где ты пропадал? Почему Саша не заходит?

Фигурка пробурчала что-то ответное, плетя про срочные Санины дела, про неизбежные московские пробки и проч., во что Цыганка уже особо не вслушивалась. Она уже поняла, что голос врет, и от этого вранья хотелось чихнуть, как от пыли.

– Мне нужно с тобой поговорить до того, как приедет дед.

Дед. Лицо куда более приятное, умеющее правильно гладить шерсть и даже класть нормальную еду, а не чертовы шарики. Да, его можно впустить сюда, он не будет пахнуть чужаком.

Чужак изобразил лицом удивление. Во всяком случае, это был не смех и не гнев, а промежуточные эмоции Цыганка на всякий случай квалифицировала как удивление. Она не совсем понимала этот эмоциональный узус, но и не испытывала к нему большого интереса.

– Я нашла дядин аккаунт на Семисфере.

Удивление на чужом лице не исчезло, но как бы увеличилась его интенсивность.

– Это подло.

Слово было хлесткое, как пощечина. Цыганке никогда не давали пощечин (это было технически сложно), но она была умной собакой и многое понимала, так что семантический ореол слова «подло» вполне ей ощущался. Гость тоже все понял, потому что лицо его подернулось, как у бродячего пса. Цыганка их ненавидела с детства, но одновременно чувствовала непреодолимое влечение, так что и отношение к гостю стало немного запутываться.

Голос хозяйки вдруг сорвался в бурлящий поток, слова шли за словами, и все били пощечинами, и щеки гостя действительно становились все более пунцовыми, точнее (Цыганка предпочитала честность), бледно-розовыми, как кожа поросенка, как мерзкое слово «липпанченко» (Цыганка не помнила, откуда помнила его).

Из этого безудержного дискурса она уловила только несколько ключевых тем. Во-первых, хозяйка, которую Цыганка всегда упрекала за излишнюю злопамятность, напомнила гостю о *Валентине*, как она все простила, но не забыла. Эх, хозяйка-хозяйка, да ведь я тебе уже говорила, что он все это придумал, что нет и не было никакой Валентины, а так, игра в придуманность.

После неуклюжих, как и все, что он делал, оправданий гостя хозяйка перешла к новой проблеме. Цыганка поняла не все, но главное все-таки было ясно: этот засранец взял на дневниковом сайте записи ее великовозрастного дяди (брата мамы, вспомнила Цыганка), убитого какими-то радикалами – то ли исламистами, то ли сионистами – прямо во время службы, и на их материале ведет какую-то свою колонку. Смысл этого от Цыганки ускользал, зато она была полностью согласна с хозяйкой в ее праведном гневе.

– Успокойся, – раздался злой голос. – Я не убивал, не крал, не прелюбодействовал, не был многобожником, не делал себе кумира, имя Господа произносил напрасно не более десяти раз, отдыхал в субботу, не лжесвидетельствовал и пару раз попытался почитать родителей. Что еще тебе надо?

Ты забыл что-то главное, забила Цыганка.

Хозяйка, вспыхнув, пробормотала что-то про клоунаду, прошла на кухню, машинально убрала грязную посуду в раковину, задвинула зачем-то табуретку под стол, опрокинув пустую миску (Цыганка простила), выключила и так беззвучный телевизор, транслирующий гигантского футболиста, счастливо берущего кредит в банке, отодвинула занавеску и устало взглянула в окно.

На улице шла бесформенная группа вылетевших из времени и чемпионата южноамериканских болельщиков, с лицами мексиканцев и флагами Бразилии на мощных плечах, но Цыганка этого не могла видеть.

– За что ты так меня ненавидишь? – вдруг спросила хозяйка, не отрывая взгляда от фанатов. – Ты ведь все это делаешь, чтобы позлить меня, чтобы сделать мне гадость.

Глупости, забормотал гость, и Цыганка не смогла разобрать, действительно ли он считает это глупостью. Нет, здесь что-то другое, она в этом была почти уверена.

– Я не понимаю, нужна ли я вообще тебе или тебе достаточно твоей игры в Блогосфере. Ты одержимый, просто одержимый.

Цыганка согласно закивала своей вытянутой умной головой.

Гость, сжав узкие пальцы в кулаки, принял какую-то искусственную стойку. Готовится произнести саморазоблачительную речь, поняла Цыганка.

– Все дело в том, что я...

В открытое окно влетела пестрокрылая бабочка – эх, Набоков, ты бы определил ее получше, – и Цыганка тут же выбросила гостя и его откровения из головы и с веселым лаем бросилась за ней в комнату. Радужные крылья носились по комнате, и мельтешение пятен утомило Цыганку, но приносило

ей радость цвета и прыгания. Утомившись и потеряв бабочку из виду, она победоносно вернулась в комнату.

За это короткое время диспозиция успела измениться. Гость стоял у двери в темной глубине коридора и с прыгающей на лице мимикой пытался надеть обратно кроссовки. Хозяйка что-то кричала из кухни. Цыганка решила прислушаться, потому что хозяйка кричала редко.

– ... всем на это пофиг, ну как ты этого не понимаешь. Ты навывдумал себе все эти категории – русский, мозанец, еврей, москвич, провинциал. Это все уже не имеет смысла.

– Для тебя – да, потому что ты уже еврей и уже москвич.

– Господи, да ты что, завидуешь мне, что ли?

– Нет, завидую я вот ей, – кивок в сторону Цыганки, – все просто и понятно.

Цыганке надо было бы обидеться, но все-таки ей было приятно, и из благосклонности она вдруг вспомнила, что гостя зовут Альберт и что как-то он даже носил ее к ветеринару и был не такой уж дрянй-человек.

Дальше их речи снова стали многословными, Цыганке было сложно их пересказывать. Хозяйка убеждала Альберта в том, что он корчит из себя лермонтовых и пытается вынести вердикт поколению, а в нашем столетии это ужедохлый номер. Кроме того, добавляла хозяйка, ты будто завидуешь евреям за то, что их ненавидели и убивали два тысячелетия.

Нет, мог бы ответить Альберт, я завидую вообще всему двадцатому веку, потому что его травма страшнее всех прочих и тем дала смысл еще на пару столетий, а меня лишили исторической травмы, и я могу ее только выдумать.

Но вместо того он сморозил какую-то глупость, не понимая, что с девушкой нужно не вести идеологические споры, а делать рукой что-нибудь закрывающее и успокаивающее. Хозяйка вернулась в залитую светом кухню, из которой вышла было в порыве ссоры, и Альберт начал снова яростно зашнуровывать кроссовки, зачем-то повторяя в очередной раз, что он уходит, что ему надоела эта московская клетка и что он лучше вернется в свой аул.

Оставь нас, гордый человек, пролаяла Цыганка, но Альберт ее не услышал или сделал вид, что не услышал.

Не дождавшись ответа, он повернул ключ, рванул на себя дверь, понял, что она была не заперта, повернул ключ обратно и еще раз рванул.

Как будто дожидаясь этого момента, из-за порога шагнули веселые клетчатые брюки, каких сейчас уже не носили, и молодящийся дедов голос радостно затараторил:

– Ну, вы уже все собрались, отлично, давайте скорее поехали, пока еще дороги свободные.

Голос был мягкий, но убеждающий, подавляющий любое сопротивление, как в старину у черкесских ханов, – во всяком случае, Цыганка почувствовала, что не смогла бы ему не подчиниться. К счастью, ей никуда не нужно было ехать, и, проводив безвольно вышедшего гостя и хозяйку, быстро потрепавшую ее на прощание, Цыганка осталась сама с собой.

Она уже деловито трусила к миске (заботливо возвращенной на место), когда вдруг воспоминания, старые-старые, с диккенсовским привкусом, подкараулили ее у кухонной двери. Цыганке увиделись мерзко пахнущие баки, возле которых она провела первые месяцы жизни, и остервеневшие дворняги, на ее глазах до полусмерти искушавшие заблудившегося чужака, и ласковые руки хозяйки, внезапно поднявшие ее вверх. Потом была дряхлая электричка, катившая из далекого подмосковья в столицу, и Цыганке, которая тогда была просто Собакой, было ужасно страшно, особенно когда в вагон заходили попрошайки с огромными псами, и что-то древнее рокотало у нее из груди.

Москва встретила ее пасмурным воздухом и холодным асфальтом, а главное, было очень неуютно от ее огромности и непонятности (у Цыганки была агорафобия). Но хозяйка уверенно вела ее по каменному лабиринту, и в конце не было никакого Минотавра, но была миска с вкусными костями. Хозяйка много смеялась, и Цыганка тоже пыталась смеяться, но получалось немного лающе.

Вечером того дня дед хозяйки долго выдумывал Цыганке имя, и для этого они пытались понять ее породу, но так и не смогли, и пришли к выводу, что она цыганка. Она не возражала, наверное, так и было. Увы, она не умела ни золотить ручку, ни уводить коней (она ни разу не видела коней, но смутно представляла их хвосты и *с веселым ржанием пасутся табуны*), но что-то разбойное было в ее порванном ухе, просящем позолоченную серьгу, и быстрее стучало собачье сердце, когда хозяйка читала вслух к экзамену: *Он хочет быть как мы цыганом...*

В этом и заключается твоя проблема, друг, подумала Цыганка, бодро труся обратно в комнату. Ты опять все напутал и забыл главную заповедь: не желай дома, жизни и истории ближнего своего. Вещь есть вещь, Расин есть Расин.

И все-таки сейчас, когда в очередной раз она осталась дома одна, ей заскулилось по тем зловонным бакам, и захотелось снова улечься между

ними и ждать, пока хозяйка не возьмет ее в свои теплые руки и не унесет в сторону Москвы.

ЧАСТЬ II

ЖИЗНЬ И МНЕНИЯ СИОНЬОРЫ ДЕ БУДЖАРДИНИ

Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскroивши черные, как уголь, тучи, нестерпимо затрепещет она целым потоком блеска. Таковы очи у альбанки Аннунциаты.

Н.В. Гоголь. Аннунциата.

Гоголь был лгун.

Ю.М. Лотман. О «реализме» Гоголя.

Глава первая,

рассказывающая о войне Горациев и Куриациев, детстве синьоры де Буджардини, немного о ее отдыхе в 1985 году в Тунисе и о роли звезды Давида в ее жизни

Жизнь пожилой синьоры Альбертины Джиудиты де Буджардини отличалась неспешностью движений и напоминала плутовской роман.

Лишь чужаку, впервые приехавшему в Альбано и неловко раскланивавшемуся со старухой – она встречала всех гостей города без исключения, потому что ее дом стоял у въезда, и каждое утро она выходила к своему низенькому столику, на котором уже ждала свежая газета, и внимательно следила за приезжими – только этому новичку здесь могло почудиться странное противоречие. Сама синьора де Буджардини охотно потворствовала тем странностям, что ей щедро подкидывала жизнь.

Все началось с того дня, когда десятилетней Альбине впервые рассказали историю о борьбе Рима и Альбы Лонги. Собственно, единственную девочку в многодетном семействе Джардини и назвали в честь легендарной родины Ромула и Рема: *Альба Лонга* в доме звучало не менее обетованно, чем Ерушалаим. Предки клана Джардини так давно жили в Альбано, что, по преданию, были в отдаленном родстве с самими Куриациями. Папаша Джардини не уставал бахвалиться, что в тридцать третьем в доме Карла Крауса он встретил Брехта, и тот так впечатлился его генеалогическим древом, что чуть ли не в тот же вечер засел за пьесу «Горации и Куриации». Подозреваю, что папаша Джардини был довольно брехлив – если ему и довелось бы зайти к Брехту, тот бы выгнал его пинками.

Однако ж семейные легенды уважали, а потому и история шестерной дуэли – по трое бравых парней из Рима и из Альба Лонги – рассказывалась Альбине с другими интонациями, чем то было у Тита Ливия.

История эта стара как мир и всем известна. В начале ее, как обычно, был пожар Трои, способствовавший ей много к украшению. Подробнее рассказывать не стоит, поскольку синьора де Буджардини не выносит батальных картин и *Илиаде* предпочитает *Одиссею*. Затем несколько троянцев во главе с Энеем – у того всю дорогу был еще и отец Анхис на плечах, который все-таки, несмотря на возраст, весил немало, – добежали до Италии. Сын Энея поселился у живописного озера Альбано, что в регионе Лацио (километрах в двадцати пяти от Рима). Здесь он, тоскуя по городской жизни, основал новый город, который на палящем итальянском солнце казался белоснежным и вытянулся вдоль побережья – так что, недолго думая, дали ему имя *Альба Лонга*, то бишь «белый и длинный». Из уважения к беженцам и персонально к Энею город сразу же стал столицей Латинского союза.

Проблемы у Альбы Лонги начались, когда ее царем стал жестокий Амулий, свергнувший своего брата Нумитора. По правде говоря, для древних это было в порядке вещей, но дело на этом не закончилось. Дочерью Нумитора стала никто иная, как Рея Сильвия, принужденная тираном Амулием стать весталкой и принять обет безбрачия. Но любовником Реи Сильвии стал никто иной, как бог Марс (для древних это было в порядке вещей), а детьми их стали никто иные, как братья-близнецы Ромул и Рем. Амулий беспокоился за процветание своего города – потому в рассказе старой няньки семейства Джардини он выходил не таким уж плохим тираном – и на всякий случай приказал посадить обоих мальчуганов в корзинку и отправить в плавание по Тибру. Так они благополучно достигли капитолийской волчицы, та поделилась с близнецами своим молоком, и, закономерным образом, характерец у обоих вышел совершенно волчьим.

Сначала они стали разбойниками и с ума сводили несчастных альбалонгцев, а потом и вовсе задумали основать альтернативную столицу, причем на строительстве погиб Рем. В официальной похоронке сообщалось лаконично: «вследствие несчастного случая», – но все знали, что это один братец ухлопал другого. Альбалонгские историки, среди которых чаще всего цитируют Тимофея Ящука-Милетского, сообщают, что все шло по плану горе-строителя Ромула, не умевшего рыть рвы, и за то Рем над ним посмеялся, но «Ромул не понимал шуток» и ударил его мечом, или кулаком, или ледорубом, то есть тем самым, чем бил Каин, этот бастард Евы и Самаэля.

В том же духе и рассказывалась Альбине история Рима, и незнакомые имена сыпались на маленькую девочку, как в ссылках Википедии. Но до создания Википедии оставалось шестьдесят три года, и нянька была для Альбины единственным, кроме самого мира, источником информации, и Альбина верила. Она уже знала, что человек может лгать и придумывать, и сама делала это с большой охотой, но нянька, казалось, была правдивее, чем сама Маат. Кроме того, она была с юга и, по семейным слухам, принадлежала к голубейшей из кровей сицилийской мафии, а ее нянино бытие только добавляло таинственности.

Но вернемся к ее рассказам и к нетерпеливо ерзающей на кресле Альбине, на смуглом лице которой вырезалась вся непростая история Рима. Впрочем, в няниной версии эта история обрывалась ровно на братьях Горациях, а дальше как-то быстренько, галопом по Европе, доходила до наших дней. И по сей день синьоре де Буджардини, когда она навещала вечный город (каждый раз чувствуя к нему непреодолимое отвращение), было непонятно, как эти улицы связаны с временами Ромула. Она плохо связывала эпохи воедино – да и все-таки возраст, возраст.

Так вот, Ромулом было совершено первое в Риме убийство (впоследствии этот город славился разгулом преступности, как третий Рим в 90-х). Тем самым образовалась государственность. Напитанный кровью город быстро оброс стенами и жителями. Стены росли быстрее, чем жители, точнее, чем женщины – долгое время Рим был заселен только мужчинами. Древних римлян это мало смущало, поскольку они уже перенимали потихоньку сексуальный опыт соседей-греков. Однако ж до рождения Томаса Бити, первого беременного отца, оставалось так много, что нянька о нем даже и не знала. Для решения демографического кризиса Ромул, ничтоже сумняшеся, решил организовать похищение незамужних сабинянок, но ошибся и похитил одну замужнюю, впоследствии ставшую его женой. На этот месте няниного рассказа Альбина впервые услышала имя Давида, который навсегда затмил для нее гигантского флорентийского прашника и черной, страшной фигурой висел над ее судьбой.

Много позже, когда она позволила себе выезжать дальше Альбано и Рима, синьора де Буджардини специально посетила Флоренцию, чтобы посмотреть на знаменитую скульптуру Джамболоньи. Уверенными шагами она прошла и мимо купола Брунеллески, и мимо дантовского носа, даже не встала в очередь в Уффици. Ноги вели ее к площади Синьории, где висела в воздухе, в окружении других скульптур, могучая сабинянка. Ее соплеменник был придавлен к земле надменной задницей танцующего римлянина, и сабинянке ничего не оставалось, как изгибаться в том же танце. Долго, долго

осматривала эту статую синьора де Буджардини, вспоминая нянины рассказы и любуясь трехмерностью, но, увы, даже Джамболонья не вытеснил из памяти картину проклятого бонапартиста. И снова в памяти вставали жертвенные и властные руки Герсилии, уже познавшей ласки братоубийцы Ромула, и вновь сабиняне подчинялись Риму, и обречена была Альба Лонга. Все это через художника связывалось с байронической фигурой в треугольной шляпе, насмехающейся над Италией и гарпуном привязывающей рыбу-Венецию к материку. В такие моменты синьора де Буджардини горестно вздыхала, закрывала длинными пальцами свое лицо (так, что был виден только острый кончик подбородка) и оплакивала свою древнюю родину, другой рукой бессознательно сталкивая кубики льда и оливку в бокале с аперодем.

Что же произошло в тот роковой день? Синьора де Буджардини не раз прокручивала его в своей голове, как будто сама участвовала в поединке или, на худой конец, была Камиллой, сестрой Горациев (о ней позже).

Рим не мог простить Альба-Лонгу, напоминающую ему о том, что никакой он не вечный город и никогда не будет старше своей соседки, записавшей в его анналы дату рождения. Дождавшись, пока альба-лонгцы сдуру изберут себе тирана Фуфетия (все народы когда-нибудь выбирают своего Фуфетия), Рим собрал свои легионы и с бравой песней пошел на запретный город. Фуфетий благоразумно предложил заменить кровопролитную бойню дракой шести парней – о, если бы все войны решались метонимией!..

От Рима вышли братья Горации. Да-да, именно их доблестный потомок воспевает золотую середину, месяц август, державные яблочки и память о медных памятниках. Перечитывая Флакка, ради которого она осилила основы латыни, синьора де Буджардини каждый раз пыталась перебороть почти идиосинкратическое отвращение к его родовому имени. Но все же получалось скверно, и ее дородное тело исходило волнами негодования от мысли о том, что ее враг пережил века и, хотя на Капитолий всходят не понтифик с молчаливой весталкой, а щебечущие туристы, память о Горациях все так же живуча.

Золотая середина всегда побеждает, грустно подытожила старая синьора, отнимая от потрескавшихся губ электронную сигару. Настоящие запретили врачи, и фальшивое курение навело на нее тоску, но отказаться от привычки было невозможно. Жизнь синьоры де Буджардини складывалась, как пазл, из множества привычек.

В том поединке Куриации оказались сильнее, в этом у праздных зрителей не осталось никаких сомнений. Шутка ли – двое Горациев сложили

голову на бранном поле (могилы их так и стояли рядом, о том свидетельствовал Тит Ливий), а трое альба-лонгцев, хоть и обмазанные смешанной кровью, заседали на оставшегося братца Публия.

Что же здесь пошло не так, размышляла синьора де Буджардини, стряхивая невидимый пепел с сигары в воображаемую пепельницу в форме головы Тулла Гостилия.

Последний Гораций, как любой римлянин времен упадка – а Римская империя была склонна к падениям, – отличался чертовской хитростью. Быстро смекнув, что при раскладе *один на трех, и три на одного* его ждет участь родственников, Публий принял единственно верное тактическое решение: убежал. Римские историки бы немедленно поправили: стратегическое отступление, скифская война, кутузовская школа против мясника Жукова. Но не будем забывать, что слово доверено няньке из сицилийского клана, с допотопных времен проживающей в Альбано, а потому Гораций вышел в ее рассказе совершеннейшим дезертиром. До заграничных тогда еще не додумались, а так – нетрудно было бы представить воинственную сицилийку с пулеметом в руках, лично расстреливающую всех трусов, недостойных звания legionera! *Dulce et decorum est pro patria mori* – этот девиз мог бы украшать парадные двери семейства Джардини, если бы история пошла иначе и эти слова произнес их не склонный к лиризму предок.

Так или иначе, драпание Публия принесло свои плоды: братья Куриации разделились, и он смог одолеть каждого из них поодиночке. Ну как же так, хваталась за голову старая синьора. Ведь если условно представить роковую схватку как $G_1G_2G_3$ vs $K_1K_2K_3$ и опытным путем выяснено, что $(K_1+K_2+K_3) > (G_1+G_2+G_3)$, то как $G_3 > K_1$ & $G_3 > K_2$ & $G_3 > K_3$? Математика не объясняла историю, и синьора Альбертина де Буджардини пыталась найти другие основания.

Так сложили головы в бою brave Куриации, легендарные потомки семейства Джардини, благоговейно заканчивала рассказ старая нянька, снова и снова восторгаясь принадлежностью к большой истории. Маленькая Альбина обычно просила продолжить, но нянька, растратив весь эпический пыл на битву (а тут она была многословнее, чем гомерово описание пятки Ахилла), лишь скупно замыкала славную летопись Альба-Лонги. Момент с предательством альба-лонгцев во время сражения римлян с этрусками няня при этом обычно забывала. В ее версии Тулл Гостилий, ужаснейший из римских царей после предателя Ромула, разрушил благословенный город без особой причины, от зависти.

Как-то раз, уже давно сменив имя Альбина на Альбертина, а фамилию Джардини – на Буджардини, синьора вспомнила эти нянины байки и объявила своей подруге, распластавшейся рядом на кровати в тунисском отеле:

– Вот именно за это я никогда не прощу паршивый Рим. На Альба-Лонге он тренировал Карфаген.

Подруга, муж которой, между прочим, был римлянин, молча продолжила пересчитывать монетки в кошельке (она была болезненно скупа, и именно по ее вине они торчали в холодном февральском Тунисе). Но вечером, лениво ковыряясь в листьях салата и попутно пролистывая местную газетенку на непонятном языке, она вдруг протянула:

– Альба, глянь, вот тебе твой Рим.

Длинный нос синьоры де Буджардини завис над первой газетной полосой, где вновь, как две с лишним тысячи лет назад, пылились руины Карфагена. Однако теперь над ними газетчики прилепили римский амфитеатр и пару белых голубей. Чужа недоброе, синьора подозвала официанта и попросила его перевести заголовок.

– Мэр Рима приехал с официальным визитом в Тунис, чтобы подписать мирное соглашение и завершить Третью Пуническую войну, – с широкой улыбкой прочел официант.

Синьора де Буджардини не изменилась в лице. Спокойным голосом попросила счет, бросила большую купюру и, не дожидаясь сдачи (лицо подружки скривилось), побежала вон из отеля. Хотя, повторим, превыше всего она ценила неспешность движений, здесь в жизнь вмешивалась история, и медлить было нельзя.

Синьора не спрашивала, где пройдет церемония, ноги сами несли ее в нужную сторону.

Тунисские газеты на следующий день пестрели фотографиями пышнотелой итальянской донны, яростно размахивающей транспарантом «ROMA DELENDA EST» («Рим должен быть разрушен»). Желтопечатники окрестили ее «полоумной старухой», и синьоре было чисто по-женски обидно: все-таки ей не стукнуло и шестидесяти.

Политические потуги Альбертины де Буджардини – не в первый раз вмешивалась она в большую политику, – в этот раз не увенчались успехом. 5 февраля 1985 года навсегда вошел в ее жизнь страшным днем, когда Карфаген простил Рим. Синьора, однако, отнюдь не готова была идти на мировую. Скорее она предпочла бы, как ее любимец Ганнибал, выпить яд из перстня, чем признать господство Рима.

Но хватит, оставим пустынные – по случаю февраля – тунисские пляжи, доживающие последние годы перед нашествием русских гуннов. Оставим предателя Карфагена, славный город Тунис – да и кому нужна эта раздражающая фантазию омонимия столицы и страны, все эти Бразилиа и Бразилия, Мехико и Мексика, Москва и Московское государство? Вернемся в уже знакомый гордый городок Альбано, в домик у самого въезда (синьора де Буджардини и поныне живет там), в туманный вечерок, так побуждающий к ловкому вранью. Узнаем историю Куриациев вместе с десятилетней девочкой Альбиной, от предельности внимания далеко наклонившейся на старом скрипящем стуле и не замечающей, что вот-вот она столкнет правой рукой, сжимающей от гнева край столешницы, стопку книг на комодике и что от неожиданности она может резко податься назад и пребольно удариться затылком, шишку на котором старая синьора будет бережно ощупывать перед тем, как лечь спать.

Прежде чем получить памятную шишку, Альбина успела спросить:

– А что было дальше с Публием?

Нянька, пренебрежительно фыркнув, дорассказала. Не удовольствовавшись кровью трех Куриациев, Публий, разъяренный, как сорок тысяч братьев, вернулся домой и на всякий случай заколол собственную сестру Камиллу (одну из тех, что предавалась унынию в правой части «Клятвы Горациев»). Оставшиеся Куриации с горя приняли римское подданство и переехали на Целийский холм, дороги Альба-Лонги были засыпаны солью, чтобы ничего не напоминало о былом, а Рим стал властелином мира.

Мысль о том, что хитрость могла не спасти подлеца и чуть большая умелость Куриациев могла развернуть ход истории, потрясла десятилетнюю девочку. Принадлежность же к этой боковой, альтернативной линии окончательно свела ее с ума.

Лицо Альбины – и так по своему бронзовому загару не отвечающее белизне имени – еще более потемнело, рука сжала столешницу, словно то было горло Ромула, и от слабого колыхания воздуха кипа книг, ненадежная, как слово римлянина, образовала наклонную плоскость.

Дальнейшее Альбина помнила смутно. Лишь со слов няньки было известно, что книги с жутким грохотом упали на девочку, та в страхе отшатнулась и угодила затылком на острый край стола, едва не потеряв сознание.

Вот с того-то дня синьора де Буджардини и ненавидела Давида: самый болезненный удар по ее голове нанесла эта нетолстая, в общем-то, книга, посвященная творчеству проклятого бонапартиста (что это могла быть за

книга в Италии 1938 года? Неужели пролежавшая почти сто лет «David, son école et son temps» Делеклюза, случайно попавшая к папаше Джардини, страстному фашистскому коллекционеру, прозванному «итальянским Герингом»?». Книга раскрылась ровно на той странице, где братья-близнецы – живой неотличим от мертвых – вновь и вновь вскидывали руки в нацистской клятве, пока отец в экстазе жреца или приносящего жертву Авраама держал в воздухе мечи, а скорбящая Богоматерь обнимала внуков.

Папаша Джардини водил дочь к разным врачам – высокое положение позволяло ему пользоваться всеми привилегиями, что даровал своим соратникам дуче, – но те только разводили руками. Все интеллектуальные упражнения она выполняла вполне сносно, во всяком случае, достаточно, чтобы ее признали нормальной. И, в целом, юная синьорина росла умненькой, симпатичной, хоть и чуть полноватой, девочкой.

Правда, как-то раз папаша Джардини, по привычке рассевшись со стаканом виски в викторианском кресле у камина, протянул руку за той самой книжкой – и обнаружил, что страница с репродукцией его любимой давидовской картины аккуратно вырезана маникюрными ножницами. Альбина даже не знала, что случайно повторяет подвиг Сюзанны Лепелетье, сумасшедшей роялистки, из мести отцу-революционеру уничтожившей все его портреты на смертном одре, выполненные рукой Давида. Ее (Альбину) порола все та же нянька, горестно отводя глаза и не желая делать то, что она делала.

О дочери Лепелетье ей рассказала много позже тетя, до которой дошли слухи о забавной ненависти племянницы к бедному художнику. Тетя, кстати, была замужем за видным фашистским деятелем, по иронии судьбы евреем – до войны в Италии такое было еще возможно и даже не особо вызывало удивление, – и дома у нее девочка впервые увидела странную шестиконечную звезду внутри амулета в виде руки. Когда Альбина поинтересовалась, что это за амулет, тетя неохотно рассказала о пращнике, ставшем иудейским царем. Когда прозвучало имя Давида, девочку затрясло в почти эпилептическом припадке, сильно испугавшем тетю.

Сдерживая свою неприязнь к амулету, Альбина зло поинтересовалась, как связан иудаизм с предателем Иудой. Тетя заколебалась и пробормотала что-то невразумительное (она еще недавно была замужем и плохо знала библейскую историю).

Синьора де Буджардини много раз корила себя за этот злой, неуместный вопрос. Своих друзей-евреев – со временем у нее их стало много – она просила не упоминать имя их царя: слишком виноват был перед ней проклятый художник.

На протяжении почти полувека Альбертина де Буджардини приходила на отцовскую могилу, стараясь не смотреть на помпезный памятник в псевдоклассицистическом духе с гигантскими фасциями (сходные можно увидеть ныне на входе в Александровский сад), и сжигала над оградой очередную вырванную страницу. Картина была известной, ее часто печатали – зачастую в отвратительном качестве – на страницах самых разных книг, так что на могиле папаши Джардини мог бы вырасти еще и пепельный курган.

Увы, остатки картины вскоре уносились ветром, и ничто не тревожило покой итальянского Геринга.

Глава вторая,

являющаяся авторским отступлением

Просвещенный читатель – этот диалогический Франкенштейн, собранный из разорванных тканей представлений пишущего о читающем, – может, с полным на то правом, спросить: но где же обещанный плутовской роман, походить на который должна жизнь синьоры де Буджардини? Что за неказистая фамилия, только набирающая неказистость по мере ее многократного употребления? Наконец, что за бесконечная история, обрастающая, как катаемый снеговик, все новыми ответвлениями в логорейном экстазе (вкупе с обилием скобок (не говоря уж о прочих отягощениях предложения, нарушающих все правила creative writing)) и не имеющая никакого отношения к старой «Волге», которую бодрый мужичок, отец безымянной героини – да где видано, чтобы у протагонистки не было имени, когда даже ее нереалистическая собака им обладает, – уже вырывает со стоянки в районе Речного вокзала?

На уровне последнего вопроса автор уже крепко обиделся. Перестал быть игривым, снял застиранный стерновский колпак, шаркнув все же шутовски ножкой (левой).

Очень ему хотелось ответить что-нибудь едкое, гордое, дышащее памятью о живущем одном царе, бессмертном лебеде, бледном юноше etc. Читатель! – мог бы воскликнуть его дрожащий голос, – не приемлю твоих претензий, потому что тебя нет, и все твои упреки мной выдуманы, и вообще ты как литературная функция существуешь не так уж много, лет четырехста. Всех этих господ Сервантесов, Филдингов, Стернов, Пушкиных, Гоголей, Чернышевских, Белых-Черных и прочих *замнойчитатель*-ей – гнать сквозь строй и бить нещадно шпицрутенами!

Ну вы уж не мешайте свинью с бисером, брезгливо сморщился бы на последних именах пронизательный Годунов-Чердынцев.

Автор, не обращая на него ни малейшего внимания, продолжил бы апологетическую речь. Да, мой рассказ пахнет четырехсотлетним приемом, но оставь мне хоть его, если не могу поведать, не зачеркивая, ~~о махорке в окнах, о баланде в Устьлаге, об ущемлении и расщемлении женщины, о диссидентских вечерах и расовой дискриминации, если не могу кричать «In tirannos!» или хотя бы вспоминать брежневский застой~~ о чем-нибудь, заслуживающем внимания и памяти. Да, плутовского сюжета пока не получилось, но что-нибудь обязательно синьорина де Буджардини выкинет – закрутит не хуже шпионского романа, да придутся нам по размеру лавры Мариэтты де Шагинян! Да, имечко героини не вышло, но никаких секретов тут нет: очень уж поэтично звучат Giardini (сады), а лукавый подшепнул приписать к ним «Бу-», поскольку синьора любит приврать, а на дантовском языке – правилам которого мы должны следовать, раз уж мы остановились в прекрасном далёке, – «лживый» как раз и будет «bugiardo». Писатели обычно оставляют такие уловки на растерзание комментаторов, так что оцените мою честность, мог бы сказать автор. В конце концов, синьору оправдывает бытие художника Джулиано Буджардини (1475-1554), того самого, что – не хухры-мухры – ассистировал Микеланджело в росписи Сикстинской капеллы.

Его-то картину Альбина Джардини и увидела по приезду во Флоренцию, куда добралась из своего Альбано специально для того, что полюбоваться на похищение сабинянок. Повторим: и купол Брунеллески, и очередь в Уффици она прошла без всякого зазрения совести, но вот в церковь Санта Мария Новелла все же случайно забрела, заинтригованная омонимией с названием железнодорожной станции, на которую она приехала (вопрос омонимии, как мы помним, ужасно ее беспокоил). В церкви ее почти ничего не тронуло, поскольку никак не напоминало о величии Альба-Лонги и о мерзости римлян, но табличка под одной из картин все же привлекла ее внимание. Там сообщалось о несчастном Буджардини, и тогда в сумасшедшей голове синьоры Джардини и мелькнуло, что избавиться от ненавистной отцовской фамилии можно с помощью приставки «Бу-». На картину она даже не взглянула, так что не будем на ней останавливаться.

Имя главной же героини я просто не придумал, продолжил бы признаваться автор. Так что пусть она будет «она», и иногда я буду выделять местоимение курсивом, чтобы подчеркнуть, что речь идет о протагонистке. С характером я тоже не определился – разве что с его открытостью почти всему хорошему, что есть в мире, и закрытости почти всему плохому, что тоже в нем обитает, – поэтому пришлось доверить эту главку Цыганке.

К синтаксическим претензиям ничего присовокупить он бы не смог: Золотой век скоропостижно девальвировался, приходится писать как получается – и даже еще чуть хуже, чтобы замаскировать недостачу вкуса под прием.

Что история обрастает бессмысленными ответвлениями – тоже ничего странного: ведь и статья в Википедии обещает, но не рассказывает. Попробуйте зайти на любую из них и попрыгать с одной гиперссылки на другую. В конце концов, по расхожей легенде, доберетесь до статьи «Философия», но по пути получится жутко заумный интермедиаальный палимпсестовый нарратив с нулевым референтом.

Ну а про связь итальянской линии с чемпионатной Москвой, принимающей весь мир, – тут уж стыдно даже что-то пояснять. Во-первых, в Италии просто приятно находиться, хотя по карману бьет, конечно, нещадно. Во-вторых, современник Джулиано Буджардини, некий монах Филофей из Пскова – кто же не ездил на ужасной развалюхе из Пскова в гости к Лотману, упомянуть которого мы обязаны были в благодарность за эпитафю, – заявил, что Москва есть Третий Рим. Правда, одновременно он обеспокоился распространением мужеложства, по всей видимости, скудно зная римскую историю и историю вообще. Ergo, по всем параметрам монах Филофей очень близок Москве времен чемпионата. Во-вторых, в имени Альбертина ровно семь букв совпадает с именем Альберт, так что одно это уже позволяет рассказывать обе истории вместе. Как Альбина решила сменить свое приватизированное мозанцами имя и, помимо приставки в фамилии, добавила в него три буквы – то доподлинно неизвестно. Если вам позволяют средства и фантазия, вы можете купить билет «Победы» на рейс Москва-Тревизо, оттуда сесть на поезд Trenitalia до итальянской столицы, где можно будет спросить у римлян, как дойти до Альбано (им хорошо известен этот путь), – и ровно первый дом на дороге у въезда в город будет принадлежать синьоре де Буджардини, которая взглянет на вас исподлобья из-за свежевыпеченных страниц местной газетенки. Должен, однако, предупредить: а) авиакомпания «Победа» обладает рядом особенностей, которые необходимо учитывать при покупке билетов; б) поезда Trenitalia имеют неприятную привычку опаздывать; в) с 13.00 до 14.30, когда солнце слишком немилосердно к Альбано, синьора де Буджардини обычно уходит пить апероль, сталкивая в своем бокале (ей всегда подают в одном и том же, навечно закрепленном за ней) гигантскую оливку и кубики льда.

Ничего этого автор не сказал – стерпел, ужался, что-то побурчал авторским ртом. Наконец, нашел оправдание: точно, ведь старая синьора не пропускает ни одного футбольного матча с участием сборной Франции и

страстно желает им поражения. Нет, дело вовсе не в том, что Зинедин Зидан ударил головой Марко Матерацци в финале ЧМ-2006, тем более что провокатором был как раз итальянец (впрочем, синьора де Буджардини, сидевшая тогда на десятом ряду Олимпийского стадиона в Берлине, так громко радовалась, когда Зидан был удален с поля, что на нее косо покосились даже соотечественники). Дело устроено гораздо сложнее, да и давайте не забывать о некоторых психических проблемах в футбольном сознании синьоры. Скидкой для них вряд ли может служить ее почтенный возраст – ведь начались они давным-давно, в 1942 году, на следующий день после ее четырнадцатилетия.

Об этом дне стоило бы рассказать подробнее.

Глава третья,

в которой достойная синьора де Буджардини наблюдает за самым первым и самым страшным в ее жизни футбольным матчем и рассказывает, как это изменило ее жизнь, а также жизнь Альберта и его девушки, с которой они все никак не могут выехать с Речного вокзала

Ноябрь – не самый приятный месяц для отдыха в Ницце или близлежащих курортах. Нет, и в июле здесь бывает опасно, особенно если помнить о связи фанатизма, государства и терроризма. Но особенно неудачной была бы идея заявиться сюда в 1942 году: человечество уже три года как бродило и перебраживало с ума, пытаясь заново определиться с врагами и союзниками, со словами и их значением, и неразумные создания продолжали делать свое сумасшествие. В паре сотен километров от Ниццы сходное сумасшествие творилось на островке Корсика.

Операция «Антон» прошла быстрее некуда, и Франция, как опьяневшая блудница, уже не знала, кто ее берет. В этот раз подкатывали к очаровательной галльской моднице сразу два «Антон», подвыпившие пива деревенские петухи. Один невысокий, в штальхельме, со строгой щетинкой под носом, жидкой косой челочкой и искаженной от ярости щекой, почти карикатурный и слишком похожий на Чаплина в «Великом диктаторе». Другой – тоже диктатор-выродок, с тяжелым подбородком, без челочки и вообще без волос. Именно он, взглядами советуясь со штальхельмом, пытался соблазнить галльскую душу стишками Д'Аннунцио и тянул потную руку к корсиканским формам.

Корсика давно забыла свое мятежное прошлое и сдалась почти без боя – вслед за вишистской армией, под звуки *Le chant du diable* сдавшей к чертовой матери все тулонские позиции. Маршал Анри-Филипп Петен,

презрительно прозванный путаной, уже безразлично смотрел, как буши – сколько колбасников в пикельхельмах он отправил к праотцам под Верденом!.. – хозяйничают на земле, которую он устал защищать. Так в далекой поволжской деревне кулак безо всякого выражения на земляном лице смотрел на прибывшую по его душу продрозверстку, которая оставит в разоренных хатах карманные пособия по людоедству. Но не будем же винить дряхлого маршала, ведь и сам Шарль де Голль его помиловал, а затем принес цветы на его могилу. Да и как бы вы вели себя в сорок втором, если бы вы родились, страшно подумать, до того, как граф Толстой написал первый том бессмертной эпопеи? Лично я, зуб даю, улепетывал бы не хуже Керенского или Гасдрубала Боэтарха, по пути оформляя документы гражданина кантона Ури и письменно отрекаясь от участия в грязных войнах (сколько лет живу – ни одной чистой войны не видел).

Маршал Петен не стал даже улепетывать, ему хотелось установить мировой рекорд и стать самым старым правителем на планете. Верденскому победителю бы сидеть на тихой вилле где-нибудь на Лазурном берегу, варить супчик добродетели из четвертьвековых лавров и попивать Бордо шестнадцатого года, пока восхищенные французские мальчишки, выглядывающие из-за забора (пришлось бы встать одному на другого, а потом меняться, чтобы все смогли увидеть), шепотом обсуждают его усы. Однако ж пришлось старику попредавать родину и доказать, что непосильно одному человеческому организму пережить две мировые войны (за исключением разве Хемингуэя, с гарпуном преследовавшего немецкие подлодки, – ну да его смерть тоже должна наводить на мысли). Вообще говоря, по моему глубокому убеждению, даже одной войны, не обязательно мировой, более чем достаточно для...

Ну да хватит, лучше оставить в покое прах старика Петена, пока меня не обвинили в оправдании и поддержке: а) коллаборационизма (само слово придумал никто иной, как верденский маршал); б) нацизма; в) фашизма (хотя обвинители их вряд ли различают); г) «Исламского государства»⁸.

Главное уже сказано. Франция ухитрилась пасть второй раз, и рансхофенский людоед мог бы подойти к оставленным позициям и, встав в картинную позу, мелодично промолвить: *И вот та счастливая минута, тот Тулон, которого так ждал...* Однако ж прочесть толстый роман у него не было ни времени, ни возможности: князь Болконский корчился на Опернплац⁹, снова и снова умирая от непонимания сути войны, пока

⁸ Террористическая организация, запрещенная в РФ.

⁹ На самом деле «Войну и мир» Гитлерюгенд в огонь не бросал, и роман дожил аж до 2017 года, пока его не сжег на book-n-grill-е писатель Сорокин – прим. авт.

Наполеон смотрел на его достойную смерть и подслеповато не видел телесных мук из-за чрезмерной толщины ляжек (65 сантиметров).

Ну вот мы и подошли к сути дела:

Буонопарте! – воскликнула мысленно Альбина, когда ее четырнадцатилетняя нога ступила на корсиканскую землю. – *Я пришла отплатить за падение Альба-Лонги.*

Папаша Джардини, ступив на ту же землю, ничего не подумал, он вообще не отличался страстью к этому делу. Его беспокоили куда более конкретные предметы: ревизия корсиканских владений дуче, беседа с главнокомандующим 4-й армии, только что овладевшей Ривьерой, наболевший вопрос с евреями, который нужно было «окончательно решить».

Два круглолицых, вытянувших вперед на манер дуче подбородки солдата молодцевато выстроились перед папашей Джардини. Один из них хотел выкинуть вперед руку перед генералом, но тот неодобрительно покосился на солдата, и рукав прочертил обратную вертикаль. Но и в этом начальном замахе Альбина успела увидеть тройную руку Горациев, и ее снова затрясло: приближался приступ.

– Не беспокойся, tesoro¹⁰, сейчас мы пойдем с тобой на матч, и все будет хорошо.

– А какая игра, пап?

– Я и сам точно не знаю. Посмотрим, чем нас порадуют корсиканцы.

По пути к стадиону – это гордое название носил местный пустырь с парой скамеек для болельщиков – папаша Джардини объяснял дочке немудреные футбольные правила. Нужно бежать в ту сторону, куда смотрит твоя голова (воинственный дух сорок второго года не оставил папаше Джардини ни шанса подумать, что футболист может смотреть в сторону своих ворот). Пинать ногой, а если довелось рукой, то лучше сваливать на Бога. Забивать побольше мячей. Не давать выигрывать евреям. Не ломать ноги противнику.

Альбина все внимательно слушала и запоминала. Особенно ее возмутило правило с рукой, оно казалось ей искусственным, хотя она уже знала некоторый набор английских слов и понимала этимологию футбола.

По корсиканским меркам было довольно холодно, температура уже пару дней висела ниже десяти градусов, а недавний дождь и автоколонны превратили почву в мерзкую жижу. По ней и вышагивала неумоимо четырнадцатилетняя итальянская девочка с умненьким, чуть полноватым лицом. Ее беспокойные руки то и дело ощупывали все еще беспокоящую шишку на затылке. На Альбину косились, причем далеко не отечески, рослые

¹⁰ Сокровище (ит.).

итальянцы с запачканными лицами. Они уже давно не видели ребенка, тем более маленькую женщину.

Доморощенный стадион уже виднелся на горизонте. Усталые от игры в войну – вишисты оказались еще более плохими воинами, чем сами итальянцы, – и соскучившиеся по зрелищам солдаты занимали места на «трибунах», по привычке попадая ногой в общий такт. Прочь от стадиона брели какие-то старики непонятной национальности. Игроки одной из команд разминались на поле.

– Кто играет? – спросил папаша Джардини у одного из солдат таким тоном, как будто просил доложить обстановку.

Подстроившись под заданный ритм, солдат выпрямился и пролаял:

– Вишисты с жидами, товарищ генерал.

Папаша Джардини не то чтобы нахмурился, но удивился. Такие игры были еще в новинку. Все-таки дуче не настолько горел желанием решать еврейский вопрос, и на итальянских территориях до поры до времени сынам Израилевым не то чтобы хорошо жилось, но хотя бы жилось.

– А кто...

Он не успел закончить свой вопрос, потому что властный, и привыкший быть властным, голос откуда-то справа отрезал:

– Я.

Папаша Джардини, хорохорясь перед дочерью, храбро взглянул на говорящего. Впрочем, черная куртка с нашивками оберштурмбаннфюрера СС резко ослабила его решимость. Да и кто из нас здесь не струхнул бы, будь за нами хоть вся бравая итальянская армия, отважная покорительница африканских прерий?

Разговорились. Немец был вполне ничего – во всяком случае, он знал хоть какие-то итальянские слова и уже тем располагал к себе. Сюда, на наполеоновскую родину, он был прислан проконтролировать выполнение операции «Антон» и, по случаю, помочь итальянским друзьям советом и ценными предложениями.

Например, провести футбольный матч между местными коллаборационистами и группой евреев, которых только недавно поймали при попытке бежать к «Свободной Франции». Матч укороченный – всего 30 минут на оба тайма. Если выиграют евреи, продолжил немец, то смогут бежать куда угодно, хоть в Палестину. Если вишисты – то проигравшую команду завтра транспортируют в Дранси.

Папаша Джардини одобрительно хмыкнул. Это подобострастное хмыканье Альбертина де Буджардини будет вспоминать каждый раз, когда

пепельный курганчик на могиле отца будет пополняться еще одной репродукцией Давида.

Тот матч старая синьора и сейчас могла бы протранслировать по минутам, не хуже Вадима Синявского.

...погода на стадионе «Антон» сегодня оставляет желать лучшего, но обе команды уже вышли на мокрое поле и готовы к схватке не на жизнь, а на смерть...

...крупным кадром вы видите игрока еврейской команды – его широкий нос вспотел от переживания и ответственности: все-таки впервые ему доверена капитанская повязка, на которой любовно вышита звезда Давида...

...мяч быстро введен в игру, и немедленно товарищи вишисты бросают все силы к воротам соперника, надеясь закончить матч блицкригом...

...жесткий подкат сейчас сделал защитник еврейской сборной. Товарищи опасливо шепчут ему на ухо какие-то предостережения. Несмотря на то, что фол был совершен далеко от ворот, судья назначает пенальти, поскольку разметки штрафной здесь попросту нет. Еврейские футболисты не возражают...

...вишист разбегается, и... ГООООЛ!! 1-0 в пользу маршала Петена.

...защитник не успокаивается, подбегает к судье, что-то яростно кричит, не обращая внимания на повисших на его плечах товарищей. Хочется сказать, что реализовавший пенальти вингер насмешливо нападает за спором и отпускает шуточки, заставляя напарников покатываться с хохоту, как в плохих фильмах про нацистов. На самом деле он совсем не прочь отказаться от гола, но испуганно косится на высокопоставленных зрителей...

...наконец, господин оберштурмбаннфюрер, которому наскучило наблюдать за этой сценой, повелительно обращает голову к стоявшему рядом эсэсовцу и нарочито медленно поворачивает большой палец вниз. Солдат – молоденький, явно только недавно вышедший из Гитлерюгенда и куда больше увлеченный футболом, чем стрельбищами, – понуро ведет еще разгоряченного защитника прочь, неуверенно тыкая в одну и ту же точку в худой спине штыком винтовки...

– Пап, а почему он не играет дальше?

– Нарушил правила, потом объясню. Давай я тебе куплю мороженое, сейчас будет второй тайм.

...После удаления еврейская команда играет в меньшинстве, но яростно борется за продление корсиканского вида на жительство.

Оберштурмбаннфюрер ухмыляется, как Карабас-Барабас, и проверяет наличие свободных мест в лагере Дранси...

Второй тайм Альбина помнила плохо: ее поразило, что этот белобрысый бугай, вновь занявший свое место за спиной чванливого немца, не смотрит на поле и только натужно сопит своим правильным арийским носом (у Альбины такого не было, и она очень переживала, стоя перед зеркалом с измерительной лентой и высчитывая гармоничность пропорций). От этого омерзительного сопения – прямо чувствовалось, как жижа втягивается обратно в ноздри, – Альбине совсем расхотелось есть купленное мороженое, да и, господи, что за мороженое могло быть на Корсике в ноябре сорок второго? В конце концов, уже не обращая внимания на игру, она тихонько, чтобы не заметил отец, выкинула оставшийся шарик, тоже уже почти ставший радужной жижей. Холодная липкая гадость угодила на дорогу и на кованный угол одного из грубо сколоченных ящиков, служивших трибунами, и грязное мороженое облепило его деревянную поверхность, замарав даже нижний край черного свастичного креста.

Прозвучал финальный свисток, и Альбина, оторвавшись от замороженного рассматривания грязного креста, взглянула на поле. Мяч покоился в воротах вишистов, но, судя по сумасшедшим от шума внутренней тревоги глазам ближайшего к ней еврейского футболиста, дети израилевы проиграли. Впрочем, этот внутренний страх не пропадал из их глаз во время всего матча, так что результат его мог быть любым. Господин оберштурмбаннфюрер, надуваясь по пути от ощущения собственной силы, развязно двигался к стадиону.

Судья почтительно приблизился к нему и пролаял окончательный счет на немецком: *Drei-zwei!*

Альбина была умненькой девочкой, но в школе ее учили французскому и немного английскому, а главный язык военной Европы не оставил в ее голове ни следа. Но даже если она бы вместо заучивания стихов Верлена и разыгрывания сценок из Корнеля (Альбина, конечно же, была Хименой и так хорошо заигрывалась, что после финального выступления рыдала в кровати всю ночь, возвращаясь в свое пухлое тельце) зазубривала наизусть последние слова Карла Моора, все равно это не прояснило бы, кто именно получил *drei*, а кто – *zwei*.

– *On va danser au Drancy?* – ухмыльнулся оберштурмбаннфюрер, неумело сострив на прескверном французском, и Альбина поняла, что евреи все-таки проиграли, как проигрывали всегда.

Кулаки того футболиста сжались так, что ногти впились во внутреннюю плоть ладони. Рука была какой-то кошмарно волосатой,

отметила Альбина, вновь выпав из реальности, прямо как будто то был не еврей, а какой-нибудь грузин (навряд ли Альбина что-то знала о стране Тамары, она даже не знала, что коммунистами уже двадцать лет правит не Ленин). Волоски на этой руке встопорщились, но почему-то не все, и девочка развлекала себя тем, что считала, сколько волосков встало в боевую позицию, а сколько осталось лежать, надеясь, что их сочтут мертвыми.

– Готовить к отправке, – брезгливо резюмировал немец какую-то отрывистую речь, которая прошла мимо Альбины.

Евреев сбили в кучку и, прямо на поле переодев их в прежние лохмотья, увели. Вишисты стояли с потерянными лицами. Альбина в упор смотрела на пенальтиста, но тот отводил глаза.

Оберштурмбаннфюрер, раздраженно ежась от недружелюбного ветра, двинулся прочь. Когда намеренно тяжелые шаги его высоких сапог поравнялись с трибуной папаша Джардини (тот почтительно привстал, прощаясь), вся черная фигурка немца вдруг стала наклонной – точь-в-точь как стопка книг, четыре года назад припечатавшая бедную Альбину, – комично замахала руками, как в ранних чаплиновских фильмах, и устояла на ногах лишь благодаря подскочившему солдату. *Teufel!* – грозно прорычал немец, и впрямь похожий на разъяренного дьявола.

– Что он сказал? – спокойно спросила Альбина.

– Потом, потом, – забормотал папаша Джардини.

Wer hat hier diese Scheiße gelassen?!¹¹ – то вопил, вероятно, сам Люцифер, если только мог он что-то вопить в своей заледенелости, пока по его ягодицам переползали в Чистилище великие поэты.

Папаша Джардини, как мог, перевел.

От всех переживаний у Альбины, видимо, совсем помутило разум: она резко встала, отбросила руки попытавшегося остановить ее отца и подбежала прямо к грозному Демону.

О дальнейшем известно только из ежедневного журнала оберштурмбаннфюреровского летописца: немцы, как известно, отличаются крайней педантичностью и на всякий случай фиксируют все на свете, далеко обгоняя здесь даже русских бытописателей. Если верить этому летописцу – а вряд ли он был более лжив, чем Нестор или Тит Ливий, – толстая итальянская девочка, красная, как мясистая помидорка, на бегу давась от смеха, подскочила к герру N. и счастливо прокричала:

– È duce!.. È duce che l’ha insudiciato!¹²..

¹¹ Кто здесь оставил это дерьмо?! (нем.).

¹² Зд.: Это дуче!.. Это дуче его размазал (ит).

По другой версии, она крикнула на чистейшем русском «Это Сталин намарал!..», но, господи, по-русски она же не знала ни бельмеса, да и, повторим, пребывала в непоколебимой уверенности, что Советами правит Ленин.

Оберштурмбаннфюрер, услышавши знакомый титул, забеспокоился и забежал глазами по подчиненным, ожидая от них подсказки. Подскочивший папаша Джардини что-то оправдательно забормотал, на ходу придумывая убедительный перевод.

Альбина попыталась отпихнуть мощное тело отца, приблизиться к немцу и рассказать ему про грязное мороженое, но ее уже куда-то увели и положили на ящики с черными изогнутыми крестами, где ее не по-девически мощное тело сотрясли волны нового приступа.

Говорят, что после этого инцидента оберштурмбаннфюрер, раздраженно отмахнувшись от подчиненных, ушел к себе на квартиру и, не найдя на всей Корсике достойных кожаных сапог, с горя улетел в Берлин, забыв отправить новую партию евреев в Дранси. По альтернативной версии, он, напротив, распорядился тут же их всех расстрелять, но его остановил белобрысый солдат, убедительно показавший, что на сегодня план уже выполнен. Наконец, наиболее вероятно, что этот еще не совсем старый немец, раздраженный на подкинутое проклятым дуче мороженое, был не такой уж дрянь-человек и не стал отыгрываться на проигравших. Он хорошо помнил, как обидно было ему самому после поражения его команды в дворовом чемпионате в таком же мерзком ноябре двадцать третьего, за пару дней до того, как этот психопат наакался мюнхенского пива. Так что оберштурмбаннфюрер, сорвав злость на одном из подчиненных (тот запомнил обиду и через два года с удовольствием сдал герра N. американцам, те с пылу-жару чуть не вздернули к чертовой матери, но все ж помиловали), завалился спать, пощадив по пути десять еврейских парней. У дверей его дежурил белобрысый солдат – он сам вызвался на ночное дежурство, потому что все равно бы не смог спать из-за того, одиннадцатого. Он силился понять, какого черта он один остался в этой истории подлецом, и не находил ответа, и злился на толстую итальяшку, по вине которой кровь осталась только на нем.

А итальяшку очень скоро увезли обратно в Альбано на частном самолете, потому что папаше Джардини нужно было закончить кое-какие дела на Корсике. Она все еще напоминала лицом перезрелый томат – хотя ненавидела их всей душой и даже не ела пиццу «Маргарита» – и в полубреду вспоминала обрывки матча. Именно здесь, пролетая где-то над повторно

падшей Францией, Альбина и дала себе слово посетить все матчи с участием французов (она не отличала их от вишистов) и заставить их проиграть.

Она не знала, что евреи не были в итоге отправлены в Дранси (может быть, их убили позже, а может, они сложили свои головы в войне за независимость Израиля). Не знала она и то, что вишисты еще до матча договорились специально проиграть евреям, поскольку ничем не рисковали, но один из еврейских защитников случайно забил в свои ворота и нарушил все планы. Впрочем, даже если бы она все это знала, вряд ли бы это что-то изменило.

Глава четвертая,

в которой синьора де Буджардини становится любовницей венецианского купца, участвует в Футбольной войне и обезоруживании колумбийского наркобарона, пытается предотвратить автогол Андреса Эскобара, после чего отправляется в многолетнее футбольное турне

Где проходила дальнейшая, уже послевоенная жизнь Альбины де Джардини – о том один Бог весть. Ходят смутные слухи, что она, не хуже Павлика Морозова, сдала папашу партизанам Сопротивления, и те вздернули его на ближайшем суку, а затем сожгли тело на костре из собранных им картин. По другой версии, «итальянский Геринг» бросил семью и под фальшивыми документами перебрался одной из крысиных троп в Аргентину, превратившуюся тогда в дом престарелых для уставших нацистов. Сама синьора де Буджардини в Буэнос-Айресе бывала лишь единожды: на чемпионате мира далекого 1978 года, чтобы полюбоваться на неудачное выступление французов и поаплодировать аргентинцам. Отца она даже не пыталась разыскать, поскольку не верила в южноамериканскую версию его исчезновения.

Старая синьора еще вспомнит это золотое аргентинское лето почти полвека спустя, сидя на одном из первых рядов «Мозань Арены» и подслеповатыми глазами наблюдая за непривычно быстрыми мельтешениями мяча. Годы футбольного опыта никак не конвертировались в понимание происходящего на поле: синьора де Буджардини, стыдно признаться, не смогла бы толково ответить, что такое офсайд и сколько замен можно делать в основное время. Более того, ее ужасно раздражало сидеть по два часа на неудобных трибунах, ждать начала матча, а затем всеми фибрами души надеяться, что игра не перевалится в дополнительное время.

В этот раз, впрочем, синьора мечтала, чтобы времени у Месси было побольше: он единственный, по ее скудным представлениям, мог остановить

треклятых бонапартистов. Ничего о биографии звездного аргентинца синьора де Буджардини не знала. Она не следила за его гениальным дебютом, ничего не слышала о «Барсе», не переживала из-за ухода Неймара, не прощала любимцу легкие налоговые хитрости и пристрастие к татуировкам. По правде говоря, она даже не знала, что у него столько же «Золотых мячей», сколько у Криштиану Роналду, потому что тот через четыре часа не сможет забить Уругваю, покинет вместе с Месси гостеприимную Россию и, так и не скрестив ноги с французскими легионерами, не попадет в поле зрения нашей синьоры.

«Атомная блоха» стала кумиром Альбертины де Буджардини совершенно случайно. Когда она прилетела в Советский Союз – она не знала о его распаде, так что мы не вправе судить, была ли она в реальной России, – то первым, что она увидела, стали не Кремль, не хмурое лицо полицейского и даже не бюст президента за девятьсот девяносто рублей восемьдесят шесть копеек в аэропортом киоске. С огромного живого постера на синьору смотрело мужественное лицо аргентинского футболиста, поедающего для поддержания формы жареные куски картошки и отдающего скрытые от испанских властей капиталы в «Альфа-банк». Точнее, это были два отдельных постера, да и вообще рекламы «Lay's» уже давно там не висело, но в голове Альбертины де Буджардини все было ровно так. Взгляд Лионеля так прожег мутное серое вещество ее мозга, что по всему телу прошли судороги.

Горе тебе, Париж, город крепкий, внезапно поняла синьора. На нее глядел человек, который отправит французского тренера на африканский островок. О, этот нос Веллингтона!.. Подтверждая ее случайную догадку, постер дрогнул и сложился в огненные буквы: *LEO MESSI ALFA BANK*. Немедленно от жары (она и не подозревала, что в страшной советской Сибири может быть так жарко) все знаки расплылись и начали причудливо перемешиваться. Подслеповатые глаза старой синьоры прочли знакомые итальянские слова: *MESSIA...ALBANO...FIABA*¹³... Старые сказки Альба-Лонги не врал. По всему выходило, что он и есть тот Мессия, про которого написано в Апокалипсисе.

С этой секунды бездонные глаза аргентинца цвели в ее душе, и неодолимая сила заставляла ее весь месяц покупать жирные чипсы, которые для нее были еще смертельнее, чем сигары. Слава Богу, синьора просто скупала пачки и с омерзением складывала их в углу очередного гостиничного номера (как же после checkout-а поражались горничные!). Более того, Альбертине де Буджардини – один черт знает, для чего, – завели

¹³ Мессия... Альбано... Сказка... (ит.)

личный счет в Альфа-банке. Улыбчивых краснопиджачных служащих даже не смутило, что ни один из них не знал тот музыкальный язык, что увел Данте от латыни и соблазнил лавроносного Петрарку больше, чем гордячка Лаура. В свою очередь, старая синьора, которую в отделение банка на Земляном валу вкатили двое крепких молчаливых индусов (доставшиеся в наследство от третьего мужа), остатки островитянского языка позабыла еще лет пятьдесят назад.

Но счет в Альфа-банке откроется только 15 июля 2018 года – и поныне свидетельство тому хранится в компьютерной системе, и специалисты ломают голову, каким образом отделение обслужило синьору в воскресенье, – а пока Альбертина де Буджардини сидит на одном из первых рядов «Мозань Арены» и пытается понять, кто из фигурок на поле и есть Мессия. Наконец, на экране крупным планом показали довольного короткостриженного француза, забившего пенальти (старая синьора не знала, что такое пенальти, но вокруг нее ликующе – она по ошибке взяла место во французской части – повторяли эти слово). Сразу за ним – грустное бородатое лицо аргентинца.

– Merde¹⁴! – выругалась синьора де Буджардини, намеренно громко и намеренно по-французски. Молодая женщина рядом возмущенно взглянула на нее, но смолчала из уважения к возрасту.

Дальше кто-то в аргентинской футболке попытался исправить ситуацию, а его напарник даже вывел Месси вперед: синьора поняла это по общему горестному вздыханию по соседству. На ее старом, испещренном бороздками лице промелькнуло что-то вроде улыбки, а веки еще больше сомкнулись, как будто приговаривая: *хорошо весьма*.

Дальше Мозань стала ареной катастроф. Один гол синьора проморгала, а затем прямо на ее глазах юркий темнокожий юнец вкатил два мяча в сетку и похоронил «Albiceleste». Взгляд Альбертины де Буджардини как будто застило бело-голубым туманом. Она кое-как поднялась со своего места, неловко потянув за собой победно развевающийся сине-бело-красный шарф соседа и едва не удушив несчастного француза. Из рук его выпала пачка модных чипсов с каким-то футболистом на упаковке, и жареные картофельные дольки весело поскакали вниз по трибунам. Старая синьора, не обращая внимания на учиняемые ей разрушения, пробормотала «Scusa¹⁵» (ее редко посещала мысль о языковых границах) и двинулась к выходу.

Чертыхаясь и пропуская мимо ушей чертыханья болельщиков, которым она беспощадно отдала их французские ноги, Альбертина де Буджардини,

¹⁴ Дерьмо! (фр.)

¹⁵ Извини (ит.).

наконец, добралась до прохода. Следом за ней двигался насупленный, явно чем-то ужасно раздраженный парень, чьи всклокоченные волосы постоянно падали ему на очки и тем раздражали его еще больше. Синьора, впрочем, вряд ли его видела. Он же о ней даже не думал: во-первых, мешали волосы на стеклах очков (сколько их ни сдувай), во-вторых, он все смотрел себе под ноги и, конечно, злился на чудовищно толстую спину какой-то старухи впереди, но не осмыслял ее как отдельного человека со своей историей.

У самого прохода огромное старушечье тело остановилось, раскачиваясь из стороны в сторону, как уродливый маятник. Парень не знал, что старую синьору поразило несбывшееся пророчество. Его самого футбол интересовал до обидного мало, и билет на одном из первых рядов достался совершенно случайно, как Лео Ди Каприо – местечко на «Титанике».

Впрочем, аналогия неуместная, ведь после трагедий в Айброксе и Лужниках (верно, сам дьявол оценил стоимость гола в шестьдесят шесть человеческих жизней) люди что-то поняли и начали строить стадионы с не меньшим тщанием, чем трансатлантические лайнеры, и старались уже не убивать других людей. Теперь, даже если бы Лионель Месси на девяностой минуте обвел четырех защитников и хитрым навесом перекинул мяч через Уго Льориса, с рождения защищающего французские ворота, и разочарованные аргентинские болельщики на выходе резко обернулись бы всей человеческой массой, и упал бы с плеч отца ребенок, и люди бы встали полукругом, чтобы не затоптать его и чтобы затоптать шестьдесят шесть человек (как то было в Айброксе), или оступившаяся девушка повалила бы за собой толпу и перекрытия, невольно прекратив жизни всех те же шестидесяти шести человек (про то рассказывали после Лужников), – то ничего бы на «Мозань Арене» не случилось, и цифра в графе «Число погибших» на странице в Википедии не превысила бы нулевую отметку. А ведь это самое главное в нашей истории, не правда ли?

Эту простенькую человеческую истину Альбертина де Буджардини усвоила из упрямства, желая насолить пропавшему отцу. Впрочем, она вспоминала о нем не чаще, чем раз в год, когда приходило время обсыпать его могилу новой порцией бонапартистского пепла. Здесь кроется, пожалуй, главная загадка «итальянского Геринга», «альбанского мясника» и «арбитра изящества» (поговаривали, что папаша Джардини написал сатирический роман о дуче и его окружении, но они канули в Лету вместе с автором). Отца Альбины не смог достать даже «Моссад», но его могила появилась на главном альбанском кладбище немедленно после того, как «Толстяк» должен был вписать в историю японскую Кокуру. Боги погоды благоволили Кокуре: набежавшие облака скрыли город от ангела смерти, и пять тонн тупости,

злости и усталости человека от человека упали на четыреста лет Нагасаки, тихонько сидевшую на скамейке запасных.

Дьявольскую могилу часто оскверняли (нередко и совершенно непотребным образом): «арбитром изящества» папаша Джардини был прозван не столько за свои записки – стиль их был, по правде говоря, отвратителен, – сколько за пристрастие к необычным, «изящным» пыткам. Когда он узнал о смерти Муссолини, то больше всего был покороблен не гибелью обожаемого дуче, а грубостью той массы, в которую превратилось его волевое лицо.

Альбертина – достоверно известно, что к началу пятидесятых она уже сменила имя, – после исчезновения отца от всех скрывала свое прошлое и не любила вспоминать о нем. Этому очень способствовала легкость ее характера. Да и, вообще говоря, синьора была незлопамятная, если не вспоминать ту парочку бзиков, что мы описали ранее.

Ну вот, например, этот второй муж (о первом мы знаем только то, что он был). Никто, не считая Тита Ливия, не подкладывал бедной синьоре такую свинью. И это при том, что как раз свинину-то муженек не ел: много лет назад он бежал на занятия в синагогу и в спешке уронил новехонькую, только-только подаренную отцом, кипочку в грязь, где ее немедленно сожрала невеста откуда взявшаяся гигантская свиноматка.

Юный плут затаил злобу на весь поросячий род и через десяток-другой лет организовал экспорт свинины из Италии на советскую Украину, с удовольствием представляя, как свадебные столы на какой-нибудь Диканьке ломаются от тарелок с пышущим салом, уплетаемым гарными хлопцами с обвислыми усами. Откуда в голове его – работающей едва ли лучше, чем у нашей синьоры, – возник образ сала, исходящего паром, о том вряд ли бы сказал и большой знаток человеческих душ. Разве что предположить, что перепутал он, по слабости людской, сало со шкварками, но о них лучше расскажет бравый солдат Швейк. Будем же снисходительны к промахам и ошибкам человека и к его небольшим странностям – в конце концов, ни одна религия мира не причисляет к большим грехам неупотребление свинины и ложное представление о сале.

Скудные гастрономические познания не помешали второму муженьку синьоры быстро разбогатеть на свином кризисе, сколотить добротное состояние и прикупить квартирку неподалеку от Риальто. На этом знаменитом мосту и встретила новоиспеченного венецианского купца Альбертина де Буджардини, угодившая в священный город на воде случайно: на обратном пути из Флоренции она перепутала поезд, как это с ней случалось не раз, и кислому лицу синьоры предстал вокзал Санта Лючия.

Тяжело вздыхая, она двинулась по бесконечным мостам, рассекая волны туристов, как величавая каравелла. Ноги вели ее к гигантскому белому мосту на Гранд Канале.

– Сколько? – лениво поинтересовалась она у бородача, бодро торгующего на одной из ступеней Риальто китайскими масками.

Это было одно из первых празднований Карнавала с момента его возвращения.

– Синьора, моя семья уже несколько веков изготавливает эти чудо-маски своими руками, – расплылась в улыбке пахнувшая свиной бородой, протягивая ей черную овальную «Моретту». Эту странную маску венецианские девушки времен Джульетты надевали, желая быть соблазненными.

– Так сколько?

Не моргнув глазом, борода назвала чудовищную по наглости сумму.

Той венецианской зимой синьора де Буджардини совершила много глупостей, из которых покупка «Моретты» стала только первой. Через неделю они укатили в свадебное путешествие, после которого муженек – он оказался моложе на несколько лет и, ярый болельщик «Ювентуса», в шутку говаривал, что влюблен в двух «старых синьор», – исчез вместе со всеми семейными драгоценностями, что остались после побега папаши Джардини.

Синьора о них не вспоминала: ее мучил солнечный удар, и она объездила все итальянские синагоги в тщетной попытке найти свою любовь. Если бы папаша Джардини не покоем к тому времени под курганом из давидовых картин, он, узнав поближе свиную бородку, выстрелил бы себе сначала в один висок, а затем в другой. Но, в отличие от него, мы не вправе судить безалаберную итальянскую донну, которая от тоски потеряла полкилограмма нетто: проклятый купец забрал-таки с собой фунт человеческого мяса.

Обо всем том мне рассказывали гондольеры, скучающие по случаю проливного дождя; а про фунт, на который похудела синьора, шепотом поведал один старый-престарый раввин из той самой синагоги, куда бежал, спотыкаясь, малыш в кипочке.

С нашей синьорой, впрочем, осталась футбольная тоска, «Моретта» и желание быть соблазненной, так что вскоре она снова выскочила замуж, вроде как за сицилийского мафиозника, с которым ее свела все та же нянька. Здесь мы надолго теряем ее следы. Ясно лишь одно: муж ее был богат, как Мидас, и столь же пропитан алкогольными парами. Газетные заголовки дают понять, что Альбертина де Буджардини долгое время скиталась за

оружейным караваном мужа по южноамериканским прериям, куда была вынуждена бежать после ново-орлеанской облавы.

Муж вышагивал по городам твердой марсовой поступью и, прикасаясь к предметам, обращал их в золото и оружие. Первое он брал себе, а последнее оставлял людям, чтобы они убивали друг друга за различие носов и ушей, за частичное несовпадение расписаний богослужений или за другие вещи, заслуживающие того, чтобы вырезать из умеющей говорить головы нос и уши. Перед тем, как лечь спать, он рассказывал жене о золотых днях своего каравана. Например, о блаженном 69-м, когда удалось сорвать объединение американских стран футбольным матчем Гондурас-Сальвадор и вручить болельщикам автоматы.

После таких историй синьора с трудом могла исполнять супружеские обязанности и, переворачиваясь на бок, беззвучно плакала, бормоча, что господь послал ей в мужья дьявола. Тогда она еще не крестилась, так что это было скорее риторической фигурой, но все же иногда ей становилось по-настоящему страшно.

Ей снились светлые, золотые сны. Жена вышагивала по разрушенным караваном странам Южной Америки и осыпала уставшие, разрозненные города белыми, как незнакомый этим людям снег, цветами. Гондурасцы бросали копья и обнимали братьев-сальвадорцев, время гибко и податливо откатывалось к первой минуте матча, который – все это знали и с тихим благоговением принимали – закончится ничьей. Самолет Boeing 727 авиакомпании «Авиапса» бережно обнимался ее рукой и ставился обратно в ангар, и сто семь человек, уготованных на обед в шикарной тюрьме Пабло Эскобара, шли домой смотреть футбольный матч. Они будут, впрочем, несколько разочарованы ничейным результатом.

Здесь сон Альбертины де Буджардини – выросший, как цветок, на удобрениях местных газетенок, – окутывался в колумбийский футбол, столь любимый наркобароном. Его однофамилец снова бежал по траве навстречу Джону Харксу, полузащитнику сборной США, очень желающему забить гол в ворота колумбийцев. Старая синьора кое-как поспевала за американцем и, паря над его спиной, убеждала Джона развернуться и выкинуть мяч куда-нибудь подальше, как только тот дойдет до него. Харкс не слушал и, заранее празднуя гол, бежал изо всех сил и нетерпеливо ждал паса. Куски газонной травы выкорчевывались его тяжелыми бутсами и отлетали далеко назад. Несколько попали на белое платье синьоры. Она не обращала на них внимания и умоляла настойчивого американца остановиться: ведь если Пабло Эскобар жив, то не повезет тем, кто вздумает пойти против колумбийского футбола.

Но снова и снова Джон Харкс пробегал со страшной скоростью последние метры, получал мяч, обводил соперника и ударял. Снова и снова Андрес Эскобар, этот рыцарь футбола, бросался на круглый кусок кожи, не жалея жизни. В замедленной съемке синьора наблюдала страшно застывшими глазами, как мяч летит к американцу, как появляется нога колумбийца, как другой колумбиец неловко пытается спасти своего соотечественника. *Досадная срезка, это Андрес Эскобар пытался прервать этот даже не удар, я думаю, передачу,* вновь и вновь звучал в голове синьоры непонятный русский голос. Колумбия покидала чемпионат мира, и шесть пуль (столько раз южноамериканский комментатор крикнул «Гол!») прошили грудь футболиста, как мяч – обвислую сетку ворот.

На этом моменте синьора всегда просыпалась и в ужасе привставала на широкой кровати, залитой, как ей казалось спросонья, кровавым светом.

Впрочем, когда тот же сон приснился ей в четвертый раз, Альбертина де Буджардини встала уже со спокойной головой и никакой крови на постели не увидела.

На следующий день она неспешно собрала вещи (включая небольшой сундучок с драгоценностями) и уехала из каравана. Бородатые, пахнущие свининой охранники ее прекрасно знали и не чинили никаких препятствий. Куда страннее, что муж не пытался ее достать и только прислал причитающуюся ей после заочного развода часть, включая тех двух индусов, что ввезут ее много лет спустя в отделение «Альфа-Банка».

После этого синьора де Буджардини навеки поселилась в своем домике у въезда в Альбано. И только раз в четыре года древний, как Олимпиада, зов пробуждал в ней смутную тоску и заставлял срываться в новую точку на футбольной карте мира.

Глава пятая и последняя,

в которой ничего происходит, кроме освоения Интернета – что само по себе есть большое действо, для нашей же повести первостепенное; еще старая синьора учится печатать на ноутбуке и писать комментарии, то есть становится, ни много ни мало, homo scribens и потому может быть объектом изучения скрипторики

Если честно, синьора де Буджардини, эта старая пройдоха, наверняка придумавшая всех трех своих мужей (уж первого-то точно), была безграмотной. Нет, для всякого рода художественного привирания мозги ее работали о-го-го. Когда она рассказывала – естественно, под большим секретом – своим соседкам про второго мужа, то те чуть ли не платками

сухие глаза вытирали, слушая про ее мытарства рядом с этим чудовищем. Правда, муж в этом рассказе сливался то с Пабло Эскобаром, то – в более романтической версии – с Че Геварой, и соседки начали подозревать, что мозг старой синьоры пропитан газетным чадом (Википедии, напомним, все еще не было). Когда она доходила до момента со «светлыми, золотыми снами» после кровавых бахвальств муженька, соседки подозрительно вскидывали глаза – что это за супружеские обязанности, когда синьора на тот момент разменяла, прости господи, седьмой десяток? Впрочем, в обмолвке про трудность исполнения был душок достоверности, и соседки предпочитали не перечить.

Однако с каждым годом слушательниц становилось все меньше, и синьора де Буджардини была вынуждена констатировать упадок устного народного творчества. Пришлось задуматься о письменности. Конечно, она была не совсем уж безграмотной – усилия Мандзони не прошли даром, – однако написать текст, вот прямо такое сложное многофигурное сочетание слов, не смогла бы. Но история того требовала.

Более того, эта самая история сильно опережала синьору. Гутенберговская революция доживала последние дни, превратившись в простое, как мычание, ежегодное махание транспарантами и чествование героев, и на смену республике словесности приходила клавиатурная охлократия.

Альбертина де Буджардини, чьи мысли, как мы помним, чаще всего блуждали в районе седьмого века до нашей эры, с преобладающим трудом адаптировалась к новому миру. Когда ей сказали, что компьютер в миллион раз смысленнее человека, она лишь скептически ухмыльнулась и уткнулась в ту газетенку, что читала каждое утро. Когда сын, доставшийся в наследство от второго брака и внезапно вымахавший, в первый раз показал ей пейджер, синьора подозрительно осмотрела его (пейджер) со всех сторон и предложила подставить под шатающийся стол. Но когда внуки рассказали ей, что появилась виртуальная (это слово ничего ей не сказало) сеть, собравшая всю информацию на свете и позволяющая ей делиться, синьора де Буджардини крепко задумалась. Это могло ей помочь.

В тот же вечер она села за компьютер и, твердо положив обе ладони на стол, заявила:

– Учите меня!

Юные компьютерные гении сначала только смеялись и не хотели заморачиваться с вредной бабкой. Разного рода посулами она смогла убедить их оказать ей посильную помощь в освоении нового мирового пространства,

и внуки, вздыхая, начали объяснять ей различие между кнопками «Enter» и «Esc». Синьора внимательно слушала и неизменно путала.

В конце концов, после почти года нерегулярных тренировок, Альбертина де Буджардини научилась не только включать процессор, но и даже самостоятельно заходить в браузер. Это была небольшая победа над современностью, но удержать ее было непросто.

Человечество (едва ли не впервые осознавшее себя как человечество) тем временем разменяло третье тысячелетие и не могло тому нарадоваться: все-таки очень уж муторным вышел последний век. Страны неловко слеплялись в целое, и старая синьора с презрительной усмешкой меняла лиры на евро. Слишком много границ она перешла за свою плутовскую жизнь, чтобы так легко поверить в их отмену. Впрочем, сэр Тим Бернерс-Ли, этот гениальный паук, заставил ее задуматься так крепко, как могла только та сицилийская нянька, что травила байки про легендарную драку двоюродных братьев.

Избыток размышлений приносил свои плоды. Еще через год синьора уже активно использовала «Google» и даже – не с первой попытки, конечно – могла вбить простейшие фразы в поисковую панель. Каждый раз, когда на вопрос находился ответ, ее пробирало ощущение чуда, хотя и несколько искусственное.

Такими темпами уже к первому азиатскому мундиалю Альбертина де Буджардини могла бы освоить молоденькую Википедию. Однако одна из подруг нашептала ей, что долгая работа за компьютером, а тем более в *электрическом интернете*, может привести к раку головного мозга или даже к геморрою. Старая синьора бережно относилась к своему здоровью и потому приняла принципиальное решение: заходить во всемирную Сеть не чаще, чем раз в четыре года (именно такой интервал, согласно авторитетному мнению подруги, был относительно безопасен для головы и седалища).

В новых условиях покорение киберпространства синьорой де Буджардини несколько замедлилось. Информация нарастала кошмарными темпами, а синьора, повторим, предпочитала неспешность движений. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram – все эти новые формы жизни остались за пределами взгляда ее подслеповатых глаза. К чемпионату 2006 года она едва-едва освоила печатание на клавиатуре (и это при том, что за всю жизнь она не написала на листе бумаги больше пары предложений!), к жаркому африканскому мундиалю – чтение новостей на экране. В четырнадцатом году старая синьора плакала вместе с бразильцами на Минерайсу (хотя и радовалась, что победили не вишисты), но нашла в себе силы на освоение ветки комментариев. Пока время во всем мире выворачивалось назад, пока

воскрешался труп Московской империи и вновь пахло мертвячиной на Марне, Альбертина де Буджардини писала бесконечные гневные комментарии на сайте префектуры Альбано. Все закончилось благополучно, только несколько бразильцев покончили с собой, да геополитическая схема чуть-чуть изменилась – синьора могла сказать словами еврейского поэта: *впервые за сто лет и на глазах моих меняется твоя таинственная карта*. Мировую войну закопали обратно в историю, а секретарь альбанского мэра, ответственный за «связь с населением», проклял Интернет и подал в отставку.

Катастрофа произошла перед последним мундиалем: Альбертина де Буджардини, вынужденная отслеживать все футбольные новости, услышала по телевизору, что какая-то «Россия» выиграло право на проведение чемпионата. Ее раздирало любопытство – все-таки было интересно, куда придется поехать в этот раз, – но слова подруги *р-р-ра-к гемор-р-р-рой* холодными пальцами стискивали ее измученное сердце.

Как назло, в доме не было ни сына, ни внуков. В панике синьора проковыляла на улицу, но и там как ветром всех сдуло. Только шел местный юродивый, который точно ничего путного бы не сказал.

Чувствуя, что совершает что-то необратимое, Альбертина де Буджардини нажала на большую кнопку на процессоре. Впервые она делала это раньше срока.

Ничего не произошло. Ничегошеньки.

Бог пытается остановить меня, поняла синьора.

После того, что она видела в Колумбии, Бог вызывал у нее смешанные чувства, так что она воткнула вилку в розетку, а мясистая подушечка ее указательного пальца вновь вдавила кнопку.

Дряхлый, как Соломон, процессор загудел. Вскоре экран замерцал зеленым цветом – ровно как в первом «Декалоге» Кесьлёвского (жаль, что синьора его не смотрела).

Дрожащими пальцами Альбертина де Буджардини набрала в поисковике «R...u...s...s...i...a»¹⁶...

Господи, что произошло с нашей синьорой! Право, даже котик Дмитрия Пригова знал об этом слове больше, чем она до этой минуты. Коварный поисковик выбросил ее в мир Википедии, и строки, бесконечные строки истории обрушились на несчастную женщину, совсем лишенную чувства времени, мало чем отличающуюся от той маленькой девочки, что смотрела первый в своей жизни футбольный матч и думала, что страной Советов правит Ленин. Ельцинские танки ехали не Москве – они ехали по

¹⁶ Россия (ит.).

сознанию бедной синьоры, и незамысловато расположенные извилины зацеплялись за его гусеницы и волоклись следом по серой равнине.

Что-то щелкнуло в мозгу Альбертины де Буджардини – будь кто рядом, услышал бы этот явственный щелк, – и память вытолкнула все из ее головы, оставив только потную футболку еврейского защитника, которого подталкивал в спину закусивший нижнюю губу солдат. И отец, отец, отец. О, здесь не нужен никакой психоанализ, и так понятно, что это все отец. Он даже и не домогался ее никогда; да, конечно, она с детства была дурнушкой, но в любом случае вряд ли бы он приставал – однако же отец сломал ее психику, потому что был слишком историчен. Будь он лудильщик, или портной (желательно еврейский), или же, на худой конец, брокер – ничего бы этого не было.

Но нет, все было, и теперь, когда все было утверждено дьявольской энциклопедией, это уже нельзя было так просто отрицать и плестись за оружейным караваном, и ловить от того томящий кураж. Память догнала Альбертину де Буджардини. Горестно вздыхая, она погрузилась в воспоминания прошлого века. Снова перед глазами вскинулись руки братьев Горациев, приветствующих отца – отца, отца, отца, любителя картин и изящных пыток. И это грязное мороженое на свастичном кресте, и еврейская команда, и торжествующие лица французов (на самом деле, как мы помним, никакими торжествующими они не были).

С еле сдерживаемым ужасом старая синьора набрала в поле поиска в Википедии – как медленно она печатала буквы, как искала их подслеповатыми пальцами, просто со смеху умрешь – имя своего отца. Итальянский Геринг оказался достоин сохранения в памяти. Стараясь мысленно считать пульс (врачи просили не волноваться), Альбертина де Буджардини старательно переходила от одной графы к другой. Еврейские имена, сплошь с крестиками возле фамилий, мешались в ее голове с названиями собранных отцом картин.

Вечером к старой синьоре заглянул один из внуков, взрослый и толстый уже мужик, сам готовящийся к порождению человека. Наскоро выполнив все свои бабушкины обязанности, синьора де Буджардини властно приказала:

– Мне нужны билеты в Россию.

Дородный внучок покорно вздохнул, уже привыкнув к ее капризам.

– Ба, я понимаю, ты опять на чемпионат, но, может, в этот раз сделать исключение... Все-таки Россия.

– Мне нужны билеты, – повторила синьора. – И еще кое-что.

Весь вечер она объясняла глуповатому внуку, какого типа сайт ей нужен. Что-нибудь, связанное с памятью и евреями. Где пережившие Холокост дети израилены делятся своими историями. И где с ними можно связаться.

Внучок всячески поддерживал государство Израиль, но особо сложной еврейской историей не интересовался, так что помочь ничем не мог. Синьора, однако, заставила его прошерстить весь гугл на предмет такого портала. В конце концов неисповедимые пути привели его пальцы в нужное нам место.

– Блогосфера, – протянул он, быстро проглядывая интерфейс портала. – На вид какое-то старье. Просто люди ведут свои блоги, комментят, прошлый век. Даже аватарок нормальных не вижу. Тут есть тематические вкладки, вот тебе твои евреи. Называется Семисфера.

Синьора де Буджардини царственной рукой отстранила его от зеленого экрана и, поблагодарив за благие дела, отпустила восвояси. Несколько дней убились на попытки освоить простейший, как мычание, сайт Блогосферы, затем синьора повоевала со вкладками и в итоге героически вторглась в тихое болотце Семисферы.

Неделями она читала блог за блогом, пытаясь пережить чужую историю и что-нибудь понять. Мы не сможем их пересказать, да и пусть все рассказанное сгниет в мозгу синьоры де Буджардини. Все, что нас волнует, – это все углубляющаяся морщинистая складка на лбу синьоры. К тому моменту, когда она откопала первые записи Арона Гинзбурга, в этой складке можно было спрятать монетку в две лиры.

История Гинзбурга поразила ее не ужасами нацистов (сам Гинзбург не сидел в концлагеря), не стилем (записи были скверно и недраматично написаны), но тем неправдоподобным сочетанием жизни с большой историей, что так мучили ее в собственных перипетиях. Читая гинзбурговы посты, синьора выделяла в них специальным цветом все, что относилось к внешнему миру, то бишь политике, и старательно вычитывала в Википедии. В ее сумасбродном – все-таки возраст! – мозгу вновь и вновь образовывалось государство Израиль, наносящее превентивный удар по арабской коалиции в Шестидневной войне, раз за разом Германия оставляла без охраны олимпийскую деревню и проваливала спасательную операцию, а Эйхман праздновал в аргентинском доме юбилей свадьбы и свою кончину.

Потому гинзбурговы излияния оказалась ей всего понятнее, и именно в его полумертвом блоге она решила прописаться. Сайт префектуры Альбано научил ее писать тексты, и полуграмотная провинциальная тетка грозила неведомому московскому еврею во всей клавиатурной амуниции.

Гинзбург старательно отвечал. Она даже не задумывалась, откуда он знал итальянский и на кой черт переводил для нее одной (все прочие были немцы) свои посты. По правде говоря, синьора легко обходилась своим языком, а Google.it убедил ее, что мир тоже для ее удобства перешел на него. В гостиницах Альбертина де Буджардини всегда говорила только по-итальянски, не обращая внимания на страдающий вид портье; при необходимости в дело вмешивались широкогрудые индусы, один из которых окончил Оксфорд. Он с детства мечтал стать лингвистом и не понимал, что он делает в проклятом альбанском доме, но не сопротивлялся судьбе.

В один из дней, незадолго до чемпионата, переписка старой синьоры со старым евреем получилась особенно жаркой. До того Альбертина де Буджардини в основном расспрашивала про отца Александра. В ее простой голове еврейство и иудейство были синонимами, и рассказ Гинзбурга о его крещении был для нее немыслимым. Гинзбург в ответ советовал почитать в Википедии об Освальде Руфайзене и Иисусе Христе. Синьора послушно читала, но понятнее не становилось.

В тот раз Альбертина де Буджардини решила перехватить инициативу у несчастного еврея, всего лишь ищущего, где бы ему высказаться. Синьора решила рассказать о своей жизни и о своих мнениях – начав, впрочем, не с Горациев (эту свою тайну она ревниво берегла), а с футбольного матча.

Арон Гинзбург футболом интересовался позорно мало, но что-то в истории сумасшедшей итальянки, ненавидящей французскую сборную, его заинтересовало. Вот отрывки из его позднего комментария на Семисфере от 22 июня (бегло переводим на русский):

...да, дорогая синьора, все так, все так. Еще раз повторю: поразительная, просто поразительная у Вас жизнь. Я рассказывал Ваши приключения своим друзьям, и все говорят, что взаправду с дьяволом Вас судьба связала, вся эта эскобаровщина, просто кошмар. Вы сильная женщина, раз смогли бросить его и вернуться в милый Альбано.

Хотя Ваш второй муж даже занятнее – просто Шейлок, не правда ли?

Вообще теперь мне понятнее Ваш интерес к еврейству, к Семисфере. Надеюсь, «венецианский купец» не сильно отвратил Вас от нашего многострадального народца <...>

Но на самое главное – это, конечно, Ваш рассказ о матче между вишистами и заключенными в Дранси (правильно я понял?). Спасибо, что поделились своей памятью, это то, для чего мы все здесь.

Я понимаю, что те мерзости, что творил Ваш отец, висят грузом, – но Вам нужно отпустить это и простить. Я сейчас как-то иначе на все это смотрю, это все влияние отца Александра. Впрочем, хоть история по мне и проехала, я, слава Богу, родился уже после всех этих кошмаров. Но, помните, по молодости я очень поддерживал «Моссад» и сам хотел записаться в охотники за нацистами, а теперь не уверен. Нет, подставь щеку и все такое меня и сейчас не устраивают, но все-таки нужно немного избавляться от истории. Я сильно Вас младше, но, представляете, и мне сложно от этой навязанной травмы избавиться. Травма того, что я лично не пережил эту травму и как будто виновен, что ли.

Я не слежу за футболом, хотя и восхищаюсь Вашими поездками по всему миру. Кстати, сейчас Вы, наверное, уже в России – как Вам? Сильно отличается от представлений, стереотипов?

Так вот, я не слежу за футболом, но слышал, что французы одни из фаворитов, и знаю, что Вы будете болеть именно против них. Я вовсе не хочу сказать, что Вам надо забыть тот матч и тех вишистов (хотя разве вишисты там были так уж виновны? интересно, что бундестим Вам меньше докучает). Я вот веду этот блог, чтобы из себя память, но не очень получается; все как будто из этих историй должна вытекать какая-то итожащая мораль, а не получается. Разве что *Дневник* – я очень хочу, чтобы Вы, именно Вы его прочли и сказали, можно ли это простить.

Но, в общем, если Вы будете так же ездить на чемпионаты, но с менее франкофобскими установками, будет лучше, Вам самим будет лучше. Национальные истории, мне кажется, в тупике. А Вы, лично Вы, их продолжаете. Попробуйте пожить за другого человека и за его национальную историю. Это позволило бы с чуть большим сомнениям относиться к эсдобаровщине.

Из меня плохой морализатор, дорогая синьора, и не мне Вас, а Вам меня учить. Но все-таки в нашей душной Москве сейчас винегреты (это такой русский салат, где намешано все подряд, это близко нашей культуре) имперскость и олимпиадность. И очень сложно в чемпионате видеть одно и не видеть другое. Тут двадцатый век как будто никуда не уходил, и им очень хочется его заново переиграть.

Сегодня как раз годовщина того, как СССР вышел из Пакта четырех держав, а им подавай вечный парад победы. Давайте хоть Вы не будете все это *novecentesco*¹⁷ гальванизировать.

А вообще – <...>

Альбертина де Буджардини тогда не успела это прочесть (да и мало бы что поняла, Гинзбург явно обращался не к ней). Она уже неделю колыхалась в непонятной и страшной для нее Москве, откуда совершала короткие рейды на Мозань и другие великорусские города. Только на самом исходе чемпионата, сидя в своем чудовищно дорогом номере на Тверской, старая синьора вспомнила про Семисферу и потребовала от молчаливого индуса, чтобы ее подключили к «электрическому интернету».

Как это обычно бывает в московских номерах, что-то долго не ладилось, логин не логинился, пароль не открывал четвертое виртуальное измерение. Альбертина де Буджардини страшно нервничала, поглядывая на часы (пора было выдвигаться на матч). Наконец, несостоявшийся оксфордский лингвист покорила интернет и с победоносным видом вручил его синьоре.

Первую часть она прочла еще в комнате, вторую – уже натягивая сапоги в прихожей, третью – в безвкусно позолоченной (хорошо, что не видел папаша Джардини) кабинке лифта. Всю дорогу, пока индус вел шикарный арендованный автомобиль по московским улицам и вежливо переругивался с местными водителями (один из них, какой-то мужичок за рулем подержанной «Волги», еще долго что-то кричал им вслед), старая синьора размышляла. Еврейские противоречивые нравоучения мало ее тронули, но все же, поразмыслив, она пришла к выводу, что от всего *novecentesco* ее и вправду уже тошнит, и нужно что-то здесь, на этой непонятно евроазиатской земле, предпринять.

Эти тяжелые мысли в очередной раз перещелкнули ее сознание, и, пока индус забежал за минералкой в ближайший магазин (нещадно палило) где-то у Воробьевых гор, куда их привез заглочивший навигатор, ее дородное тело зачем-то вышло из автомобиля и куда-то двинулось.

Ох, растяпа, а что же с тем раздраженным взъерошенным парнем, который косился в бесформенную спину нашей итальянской синьоры на одном из первых рядов «Мозань-Арены»?

Этим парнем был Альберт Эйнштейн.

¹⁷ Двадцативечное (ит.).

Да нет, шутка, конечно, какой еще Эйнштейн.
Впрочем, он бы не отказался от этой фамилии.

Ну да речь не о нем, а о старой синьоре, дочери итальянского Геринга, жене венецианского купца и южноамериканского наркобарона. Ей было неуютно и страшно: она впервые была наедине с этим чудовищно гигантским городом, хотя и не сразу поняла это.

Мысли бродили-колобродили в ее странной голове, и очень хотелось посмотреть новыми глазами финальный матч, но было неясно, как на него попасть. Не придумав ничего лучше, Альбертина де Буджардини просто двинула свое мощное тело в сторону виднеющегося впереди огромного щита «Добро пожаловать в Москву – столицу чемпионата мира».

ЧАСТЬ III НАПОЛЕОН В ЕГИПТЕ

Краев чужих неопытный любитель...
Александр Сергеевич Пушкин

*Видит он небо Аустерлица,
Он не Степка, а Наполеон!*
Александр Башлачев

Речной вокзал – Ленинградский проспект

Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я.

Всякий раз, как Альберт вспоминал эту фразу, с которой началась русская проза (прости, пригожая повариха!) и ее неловкий роман с Москвой, его лицо выдавало недобрую, завистливую усмешку. Сегодня карамзинская нескромность не выходила из головы, а усмешка, видимо, получилась настолько кривой, что ее дед с удивлением взглянул на него с водительского кресла.

Зато расшаркивание перед Чулковым заставило вспомнить о президентском поваре и внутренне посмеяться маленькому политическому акту.

Впрочем, тут же веселые мысли отвлеклись на агрессивные острия длинных плинтусов – из той рухляди, что никогда не вытаскивается из машин и сводит с ума всех, кроме водителя. Альберта, как обычно, охватило бессильное раздражение на старика: раз уж замутил всю эту поездку, то хоть подготовь салон. Но нет, пол-машины было завалено всякой дрянью, лишь половину которой Альберт смог бы назвать по имени. Больше всего мешались плинтусовые копы, на манер Веласкеса перечертившие треть обзора и диагональю отсекавшие ее от него.

Тяжелый городской дым, не смогший стать смогом, проникал даже через глухие автомобильные окна, через малейшие щели между кривой линией двери и стальной массой кузова. Он царапал самую кожу, обволакивал ее той же духотой, что царила в обшарпанном салоне. Через поры ядовитый воздух – даже здесь, на бывшей окраине, дребезжащий и многомашинный – проникал в кровь, и Альберт почти физически чувствовал, как, ровно по Гиппократу, черная желчь внутри обращается в желтую, завязывая еще сильнее узелки его нервов.

– У меня пересох язык, – сказал он, чтобы чем-нибудь взболтать этот ленивый воздух.

Она только молчала протянула бутылку с противно-теплой водой – и правда, было бы странно, если бы в этой заваленной спертости осталось место для слов. Да и что она тут могла сказать? Что к этой разваренной лопате, которой стал его язык, не хватает черенка, чтобы обращаться с ней более изящно? Что растекшиеся от жары слова – эскобаровщина, например – лепятся как попало и, слюной приклеенные к коже, не покидают эпидермиса?

Нет, конечно, она бы так не сказала, не ее это. Оставим медицинский натурализм колымскому домино, а избитые (увы, не избытые) рассуждения о языке – тем цитатам, что так старательно переписывает умирающий писатель Морелли.

Не сказала бы, мысленно добавил Альберт, потому что совсем другие слова приходят, когда ты придавлен со всех сторон отцовским барахлом и еле можешь дышать в душном салоне дряхлой «Волги»

*не сказала бы потому что ничего не говорила уже столько времени
ровно с того момента как стоя в коридоре где еще так пугалась под ногами
цыганка держала что то первое попавшееся в слабых руках ее руки такие
слабые что она не может открыть бутылку без меня и кто же будет ей
открывать эту чертову бутылку вот что я хотел бы понять
японятьтебяхочусмысляявтебеищу она крикнула трижды или четырежды
что устала устала как черт или как сизиф где она берет эти сравнения и
именно как сизиф потому что все распадается прямо на глазах к чертовой
матери разваливается а она снова его строит а потом опять
разваливается и вот она сизиф а я камень которому так нравится мать
вашу катиться обратно и тэ дэ и я пробормотал что-то оправдательное я
назвал камю я произнес апологию камня à la tourguénéff после чего приперся
старик а она отвернулась и замолчала и молчит*

Резкое торможение ударило его лбом о край плинтуса (она испуганно взглянула на него, чтобы проверить, что все в порядке, но тут же отвернулась). Так, хватит, взмолился Альберт к своему воспаленному на жаре сознанию. Достаточно нам этой психопатки Буджардини, пора собраться и, главное, собрать слова. Хотя и зря он так с итальянской старухой: кто знает, какая у нее на самом деле история – во всяком случае, получше той, что представилась ему.

– Какая это улица? – безнадежно спросил Альберт, чтобы не думать. Он рассчитывал, что она ответит хотя бы автоматически. Даже специально спросил как можно тише, но все равно откликнулся, не оборачиваясь, ее обычно глуховатый (или делающий вид, что глуховатый) дед:

– Беломорская, кажется *не думать не думать*. Мы выезжаем на Ленинградский, если, черт их подери *черт их подери*, стадо этих кабанов нам позволит. Когда здесь достроят уже метро, народу будет еще больше.

Кабанами он безыскусно именовал вереницу поливальных машин, застопоривших дорогу вплоть до выезда на виднеющийся впереди широкий проспект (потом Альберт узнал, что это и был *Ленинградский*). Машины его интересовали мало, мысль раздражилась чем-то другим, ядовитым и зудящим. Это было в самих именах, это было что-то вроде топонимической аллергии, ведь –

нет сначала пришли на ум сигареты дурацкие смолящие сигареты подставили деточкина он всего лишь хотел угнать нашу волгу пришлось купить пачку друг потому что здесь важнее беломор чем друг ненавижу когда дымят в лицо но этими не дымили в лицо а наоборот получали в лицо те кто их курил чей пот всегда будет на фильтре в придачу к пачке покупайте беломоркэмел или бель амур шанель непревзойденные духи верблюды на стройке фараонов без туфты и аммонала нету беломорканала но он есть есть здесь торчит посреди москвы и пахнет как же мерзко пахнет эта улица но ладно в мозани еще хуже там она идет пять километров и на ней школы представляете школы на беломорской интересно ее назвали для усатого или просто так ради яркого примера исправительно трудовой политики советской власти эх где там лавры толстого как вписать свое имя среди тридцати шести писателей вот он сказал что откроют метро ведь наверняка назовут беломорская где ты живешь я живу на беломорской все мы в каком то смысле живем на беломорской москва кончается на беломорской

Если бы она слышала его мысли, то тихо, беззлобно рассмеялась бы, прикрывая рукой нижнюю губу, как обычно она это делала. Или раньше бы рассмеялась, а сейчас уже нет. Она и вправду пыталась подслушать эти напряженные афоризмы, которые он с усилием складывал в сознании, но ничего не выходило, и только чувствовалось, что он страшно раздражен. Она, конечно, уже попривыкла за эти годы, но устала, боже, как она устала, и вправду Сизиф какой-то, настолько это все кажется бесполезным. В первое время, когда он еще ходил на свои нафталиновые литкурсы, все было как-то иначе, попроще и без выделанности, без дурацкой его закрытости, этого фильтра, который всегда мешает. А теперь он просто врет, врет, врет, и от вранья кружится голова – Дед, откроешь окно? Душно, – и все время желание быть кем-то еще, эта вторая страница, даже фотографии чьи-то спер. Потом эта шлюха Валентина, с которой ему нужно было просто напридумывать сюжетец. Теперь же, когда он издевается над дядиной

памятью – всего два года прошло, как его убили, – и дурачит своих немцев, нет, она не может понять, она устала от усилия понимания.

Если бы она была Альберт, она бы вставила в мысль чужое словце, неуклюже бы подумала *«ложь сложно будет побороть усилием пониманья»*, но как раз она-то не была Альберт. Это важно для нашей истории.

– Сейчас будет Речной, – радостно, будто конфетку пообещав, объявил старик. Он явно готовился к экскурсии. Альберт старался не смотреть на его кошмарно широкие клетчатые брюки. Вообще он был не так уж стар, но будто специально косил под пришельца из прошлого. В его гараже стоял новенькая «Toyota», но катать он их вывез, естественно, на своей чертовой «Волге». Он был любитель старины. На Масленице у него, пожалуй, водились жирные блины.

Альберт не стал расспрашивать, что такое *Речной*. Он упорно не запоминал ничего из городских названий и при знакомстве объявлял, что страдает топографическим кретинизмом. Кроме того, чувствовалось, что дед скоро не выдержит и начнет что-то рассказывать. Называть с той самодовольной и в то же время сдерживаемой улыбкой, с какой Рафаил или кто-нибудь еще объяснял Адаму устройство Эдема *зная что небесная канцелярия позволяет бронировать на местном букинге только на семь лет так всегда семь лет пять лет бакалавриат потому что сначала учишься не там где надо ходишь на пегасовские курсы хотя как будто есть как надо потом два года магистратура а через семь лет возвращайся возвращайся в мозань там много хорошего там тоже улица беломорская пять и семь километров если верить википедии а не своим шагам*

И действительно, едва «Волга», дряхляя на каждом повороте, оставила бензиновый след на *Ленинградском* и, заехав в какие-то узкие тупички, оказалась напротив длинного каменного корабля, пришипленного звездой, старик затараторил:

– Вот он, дорогой *это он мне или ему*, я еще хорошо помню те времена тебе ж *семьдесят от силы*, когда... – он закашлялся или забулькал довольным смехом, – когда он, ну, Северный вокзал то есть, был визитной карточкой Москвы, так его называли те *кто те*. Ты слыхал там у себя *там там там* о «городе пяти морей»? Никто не верит, что это про Москву. Гигантский каналіще. Кстати, Мозань же на Волге, да? Как же, как же, помню. Считай, скоро сто лет будет, как соединили Москву с Волгой *скоро полтысячелетия*.

– А когда его построили? – ее голос. Уже почти отвык.

– Черт его знает, еще до войны. А вон, на стене написано, – он указал на центральную часть архитрава с гигантскими буквами «1933 ВОЛГА –

МОСКВА 1937» так и должно было быть Вообще красиво, да? Ничего страшного, что мы такими зигзагами едем, его стоило посмотреть. Как в старину тебе что блин несколько веков – отсюда знакомство с Москвой. Вы не смотрите, что такая разруха, тут уже сто лет опять сто лет как легко хоп и сто лет стоят эти таблички строительные. А ведь не чухня какая-то, – он задумался, копаясь в культурной памяти. – Сталинский ампир.

Сталинский ампир давайте уже не будем забывать буквы Сталинский вампир и он тянет даже меня а я родился ровно в середине чеченской войны я все выверил по википедии я родился в день когда оливейра нет не Орасио а Гутеррейш сделал первый шаг в сторону кресла главы ООН а я первый шаг в сторону Москвы

да ООН в этом было что-то правильное в самой идее вот мое авторитетное мнение жизнь и мнения Альберта де Бужардини и было правильно что они объявили мой год международным годом терпимости и памяти да памяти о мировой войне им хорошо а мне нести эту память

память о тридцать седьмом годе ну да когда еще мог быть выстроен этот канал знакомство с Москвой начните знакомство с Москвой с тридцать седьмого года и прокатитесь по каналу Москва Волга тридцать три тридцать семь да Волга Волга прокатитесь под фирменные визги любви Орловой и толпы мертвецов Папаша кто строил эту дорогу нет этот вопрос я ему не задам потому что она рядом потому что жить стало лучше жить стало веселей кто же догадался здесь подписать Сталину вот бы Лебедев Кумач в дневниках смог это сделать и вот так все под кровавым кумачом смешно что Кумач начали делать мозанцы

– Все-таки что-то итальянское, типа дворца дожей в Риме, слышали? А превращается в развалины.

развалины развалины да на розвальнях уложенных соломой я в Риме родился и он ко мне вернулся римские дожди это интересно и правда пытались украсть дворец дожей но на каком основании да да самое главное основание оно должно переворачивать здание огромный фундамент на ажурных аркадах это пытался украсть Корбюзье похожий в этом на Люфтваффе что то такое было у лежащего на сан микеле Бродского что позабудут в ярости циклопы но нет тут другое главное множественное число много аркад много дождей понимаете а нам надо было строить дворец дождя и красть египетскую пирамиду а не трогать Венецию Венецию в которой мы еще разговаривали с которой вообще хорошо говорилось несмотря на толпы Венеция нуждается в туристах и говорит с ними а Москва ни хера мне не говорит так и таскаешься по ней со своей памятью на жестком диске и она тоже ни слова ни слова не говорит все не трогать

ничего в памяти не трогать и венецию тоже ее и так перетрогал уже наполеон как будто мало было египта

Она хотела поправить деда, но тактично промолчала. Впрочем, в голове ее все же застучали о каменный берег остроносые концы гондол (как точно это у Пастернака – *точа о пристань тесаки*), и черно-белые красавцы, ловко орудующие веслом, запели протяжно и грустно что-нибудь вроде *Negli occhi c'è paura di domani*¹⁸... Это отвечало ее грусти. Воспоминания о венецианской поездке, когда они допоздна бродили где-то в Каннареджо по переходам шириной в полтора человека, бежали от назойливых официантов, ждали и никак не дожидались ночной вапоретто, перемывали косточки московским знакомым, к которым так не хотелось возвращаться, а затем так долго стояли у церкви Санта Мария делла Салюте (они как раз посмотрели только что вышедший фильм какого-то сербского режиссера, причем пришлось в оригинале, и они ничего не поняли и только смеялись похожим словам) и смотрели со стороны на этот самый дворец дожей, так странно сдвинутый с площади из страсти к воде, – вся эта заново прожитая память саднила и подпитывала тоску. Перед глазами вставала площадь Сан-Марко, точнее, не вставала, а опрокидывалась прямо в разлитую по камням воду (тогда было, как обычно, небольшое наводнение), и так не хотелось поднимать голову, а только смотреть на отражение собора и бояться подумать о самом соборе. Потом, шлепая по таким не католическим куполам и тройке коней (он жаловался, что приложение «HiTide» не предупредило о наводнении и он не взял резиновые сапоги), они прошли, под яростный спор двух ресторанных оркестров – Quadri и Florian – под длинные стены последнего. Безуспешно пытались вспомнить, кто из великих здесь сидел: наверняка Хемингуэй (где только он не сидел) или Гоголь. Конечно, им это было не по карману, Альберт в то лето был совсем без денег и потому еще более злой, но она ему рассказала лайфхак с такими ресторанами: они не сидели за столиками на площади, не наслаждались оглушительной игрой оркестра под беготню безукоризненных белых пиджачков, зато по человеческой цене исполненный достоинства бармен наполнил их бокалы просекко и приставил к ним блюдечки с картофельными дольками, совсем непохожие на мерзкие московские чипсы.

Ей расхотелось слушать деда, тем более что нарастающее напряжение между этими двумя ужасно ее достало. Она отвернулась в окно и, пока «Волга» медленно возвращалась на знакомый ей с детства Ленинградский (отец всегда возил ее этой дорогой в школу), смотрела на проплывающую махину Речного вокзала, на зелень вокруг и на неспешных прохожих. Один

¹⁸ В глазах страх завтрашнего дня (ит.).

из них, непривычно для москвича улыбчивый, помахал ей. Может быть, это был турист.

По ее лицу Альберт видел, что она тоже что-то хотела сказать – скороговоркой, как это обычно у нее выходило, – поправить старика, или вспомнить *La Serenissima*, или восхититься «кораблем» и посетовать на его запущенность. Но она замолчала, если только можно так сказать об уже молчавшем человеке, который почти что-то сказал, но замолчал дальше.

Не дождавшись реакции и видимо расстроившись, поникнув *нужно сравнение*, как обойденный пчелой пустоцвет *нет нарушена логика* – или как пчела, налетевшая на пустоцвет, или как Соня, читающая в мозанских школьных учебниках (они называются *дәреслек*, и от одного слова встала в памяти школа, и его передернуло) о том, почему она пустоцвет, – в общем, поникнув, старик с деланным усилием пожал плечами и начал яростно раскручивать тугую баранку «Волги».

Мысль о пустоцветах и мозанских графинях заняла Альберта на минуту, и он уже хотел поделиться этим с ней, но она подчеркнуто смотрела на прохожих и на медальоны на фасаде *как будто они могли ей что-то сказать после медальонов айя-софии одни с александром тем самым что открылся вместе с христом за штукатуркой другие с арабской вязью корана на щитах и в них я должен увидеть бога которого нельзя увидеть мозанцы слишком верят в слово но как же искусство мыслит образами почитайте шкловского но не дальше первой строчки*

Да пойми ты, пойми, пойми, яростно повторял Альберт, направляя на нее ментальные пассы, как выдающийся гипнотизер в башлачевской балладе. Ты должна понять, что мне нужно поделиться. Ты должна понять, что *необходимость деления отличает homo postsoveticus сближает его с влюбленной инфузорией туфелькой но нет никакого предела хейфлика нужно делить и делить как сумасшедший ядерный реактор пока две туфельки не соприкоснутся кончиком ресничек и не произойдет потрясающий big bang культурных клеток хоть он встрясет поднадоевшую за эти часы сингулярность ты меня в нее поместила своим молчанием своим втягиванием ресничек если только эти чертовы инфузории умеют втягивать реснички*

– С-с-су... – начал яростную тираду старик, но, вспомнив свою обиду, обиделся еще сильнее и замолчал.

Почему-то от этого невысказанного ругательства Альберту стало еще тошнее. Уж лучше бы показал всю сочность языка, назвал бы его хуем заплатанным, как давеча Жуковский в поездном тамбуре (он уж и сам верил, что так и было).

Ее глаза быстро и весело – как будто ушла грусть, пока не вспоминаешь – перепрыгивали с дома на дом. Обычные неприветливо-серые дома, каких в Москве навалом, но все ж летом хорошо было смотреть, как бетонка обрастает зеленью, пока ее еще не снесли. Конечно, в районе Речного и подавно нет лесов вроде ее любимого Измайловского (она всегда хотела жить среди этих старых шестиэтажек, хотя севернее было и престижнее), но все же хорошо и привычно. Ей даже захотелось попросить отца гнать помедленнее, чтобы порассматривать каждый двор – она любила все эти «детальки», и в галереях подолгу стояла перед каким-нибудь Брейгелем или даже Босхом, вглядываясь в человечков и чудовищ.

Альберт все силился родить какую-то простенькую – зуб даю, что простенькую, – мысль, но что-то мешало. Рецепт мадленского печенья не помогал разобраться с памятью и очистить ее от мусора. Чужие слова мешались, как в зачитанном Сване Елены Шварц, и хотелось утопить всех в ванной, потому что *слово дышит влажно*, но это тоже был чужой рецепт, от него не рожалось.

Заумный мусор же обладал способностью к саморазмножению, понял Альберт, размышляя, на кой черт он полез в биологию, физику и космогонию. Мысли снова начали расползаться, соблазненные упоминанием космогонии, и невероятным для себя (лень его была чудовищной) усилием воли он сохранил предложение. Его взгляд нашел ее лицо и, как за спасительный круг (вовсе оно не круглое), зацепился за него. Обращаться, решил Альберт. Слушай меня. Мне правда нужны эти метафоры. Можно сказать, метафоры с битой ссылкой. Как ненаписанная, но уже существующая статья в Википедии. Нужна ровно потому, что они хоть немного обнуляют загроможденное чертовыми плинтусами пространство для контакта, и я должен делиться с тобой этой метафорой, а ты молчишь

и втягиваешь реснички и оставляешь мне сингулярность оставляешь мне симулякрость так бы сказал батая а что бы сказал батый надо быть честным и смелым взять да подойти к зеркалу да сказать с расстановочкой во мне больше батая чем батая если бы я хоть раз его открыл а так это симулякрость в квадрате я использую метафору с битой ссылкой как мне описывать москву битыми ссылками как мне перейти по этой битой ссылке к тебе если мать твою ты молчишь Так, стоп, стоп, стоп. Стоп, мать твою. Или отца и деда твоего *во имя отца и деда* (это снова начало поддразнивать сознание).

– А теперь мы где? – услышал он свой чужой голос.

Старик молча делал что-то с коробкой передач, то ли не услышав, то ли обидевшись на равнодушие к римской архитектуре. Альберт поискал внутри

желание пересиливать себя и говорить что-то дважды, но ничего не нашел. Машина плыла по *Ленинградскому*, и не было никакого миражного Ленинграда (это тоже оказалось битой ссылкой), и даже Петербурга не было, потому что навстречу машине плыла Москва, и эта Москва молчала и не выносила ему, узкоглазому Наполеону, свои ключи.

Ленинградский проспект – Петровский путевой дворец

Они пролетели *Ленинградский* так быстро, как только могла недочиненная «Волга», и все дома смешивались в молчаливое пятно, мыльно проскальзывая через металлическое оглазье альбертовых очков.

Старик обиженно мычал какой-то марш, бессмысленно вращая туда-сюда регулятор частоты радио в рифму хаотичным поворотам руля. Она смотрела в окно и изредка отбарабанивала тонкими пальцами ритм того же неслышного ему марша, а он тем временем изучал ребристую сущность впившегося ему в плечо плинтуса. Эти стройматериалы, торчавшие во все стороны *как пучок смыслов*, напоминали о чем-то, возможно, даже о важном, но их холодная поверхность молчала, и натянутые до предела альбертовы нервы не выдержали. В духе достоевского скандальчика он хлопнул по плинтусу рукой – немедленно кисть заныла от неумелого удара, а плинтус обиженно издал какой-то глухой звук *осторожный и глухой*, который, впрочем, не развился ни в какую мелодию и повис в тяготящем воздухе. Что-то все же цепляло, что-то было *under wood*, дешевая игра слов и мечта о печати.

С руля донеслось недовольное бормотанье, и Альберт понял, что не надо портить полезную вещь. Его немного интересовало, откуда плинтус вообще здесь взялся и куда направляется, но вопрос так и остался в горле. Тогда он стал искоса разглядывать ее тело, потому что она всегда уверяла, что у мужчин нет бокового зрения, что они смотрят только прямо *это конечно бред иначе как я вижу твое тело ведь я смотрю на плинтус а угол к тебе давно уже вышел за девяносто как же я тебя хочу даже при нем даже при плинтусах пусть они будут ударяться друг о друга в такт лишь бы заставить тебя говорить все эти silentium давно устарели молчать гораздо легче чем заставить человека сказать хоть что-то*

– Я хотел провезти вас через центр, – почти злобно сказал старик, не оглядываясь. – Там все прикрашенное к чемпионату. Но черт с ним. Поедем через ТТК, так быстрее.

Альберт думал в это время о ней, а предательский мозг напоминал, как Передонов мнется у забора и представляет сестер Рутиловых «в

соблазнительных положениях», и голос ее деда прогудел как бы в стороне, но три буквы что-то задели *ттк* как же они любят аббревиатуры в моем автограде любят цифры у нас нет улиц а есть несколько цифр 59/05 идеал битой ссылки но три буквы *ттк* не лучше боже как будто по телеграфу я не хочу не хочу ехать через три буквы там она точно не скажет мне ни словечка ни одного мать вашу словечка

Старик, подхватив волну, смачно выругался. Альберт даже не ожидал от него и был почти в восхищении, как Гоголь у въезда к Плюшкину, как Тургенев в дни тягостных сомнений. Машина резко затормозила и остановилась перед вереницей других автомобилей, чьи водители наверняка тоже ругались, но более скудно.

– Придется вам потерпеть меня чуть больше, – закончив (к сожалению) извергать проклятия собянинским стройкам, пробормотал старик. – ТТК по Беговой перекрыто, всех гонят через центр. На весь вечер там застрянем.

– *Rará!* – она не могла сказать так, это все-таки еще не бульварный роман, но она сказала именно так, на скверно-французском. Само же папство не удивляло: она часто говорила, что он для нее больше отца. Но главное не в этом, а в последующем, столь же невозможном (может быть, она забылась, кто ж ее знает): – Прекрати. Мы будем только рады поехать через центр. Ты представляешь, он недавно спросил меня, что такое кольцо бульваров, мы обязаны его там покатать.

Я блаженствовал гораздо больше, чем *светлокожий вдовец* от своих пресловутых *трех шажков вниз по нёбу*, я бы с удовольствием перекрыл дорогу и в центр, лишь бы только он снова так зубодробительно ругался, а она называла деда *rará*, говорила самые никчемные вещи и, сама того не понимая, обращалась ко мне, называла меня «он», так даже лучше. Кажется, старик тоже был тронут, хотя и продолжал угрюмо теревить панель радио. «Волга» нехотя развернулась и поплыла за чужими маячками.

– Даже развернуться тут не дают, суки, – уже беззлобно пробурчал старик. – Все в честь гребаного чемпионата. А мы как раз между Динамо и ЦСКА. Ну, станциями. Придется чуть-чуть вернуться, у Петровского повернем.

Петровский. Альберту стало даже забавно, что они едут на Ленинградском к Петровскому. Она бы точно могла это оценить, если бы пожелала подключиться к его игре, подумал он. Хотя она уже включена в это, как в его боковое зрение, даже если она противится этому и ставит чертов плинтус заслоном *интересно что петр мог построить в москве как можно что-то строить когда ненавидишь когда встаешь на шарнирных механизмах чтобы восковой рукой проклясть город изгнавший тебя на*

болота нет ему здесь можно строить только потешную терраотовую армию во славу войны во славу войны во славу войны

Видимо, Альберт случайно забормотал вслух – во всяком случае, старик поспешил разуверить его, сообщив, что дворец (красную кирпичную кладку которого они уже видели впереди) не имеет никакого отношения к Петру и построен Екатериной в честь какой-то войны *я то и говорю во славу войны*.

– Когда-то я любил это место, мы с женой здесь гуляли. Даже и тебя брали, помнишь? – обернулся он к ней. – Тогда еще он назывался Дворцом Красной авиации *ну конечно екатерининский красный кирпич за всем этим один цвет*, еще даже в девяностые. Может, даже это больше что-то говорило *говорило говорило*, потому здесь все вокруг связано с авиацией – все улицы сплошь авиаконструкторы и пилоты. Здесь была знаменитая академия Жуковского, ну, того самого *и стремимы тайной силой полетели*. Оттуда сам Гагарин вышел! И Терешкова, да вообще все. Мой друг, летчик-ас, чуть не плакал, когда их отсюда выгоняли. Тут же все заточено под аэропорт.

– Какой из? Шереметьевский, раз мы на севере? – попытался Альберта выказать минимальную осведомленность о Москве. И, естественно, ошибся. География не давала нужное измерение.

– Нет, конечно, Ходынский *это же просто омонимия нет это ведь не ходынка* – Первый московский, представляешь? Еще до революции открыли. Потом было кладбище самолетов *кладбище на ходынке*, я лет десять назад проезжал, жутковато было. Но странно было бы посреди города оставлять аэропорт. Хотя такими темпами скоро и Внуково будет в черте города *да это в духе москвы пожрать мозань пожрать все*. А здесь бахают новые дома *мама почему мы живем на ходынке раздают подарки мама я хочу подарок мама а ты видела императора нет император на всероссийской выставке выставке беломорских мертвецов мама мама а почему его зовут кровавым*

Тут мысль дала сбой: Альберт никак не мог вспомнить, связано ли это с Кровавым воскресеньем, или таки с Ходынкой, или вообще с собственной кровью. Хотя нет, вряд ли бы так назвали святого, тут путается субъект и объект, ведь нет же Бориса и Глеба Кровавых или там Себастьяна Стрельца. Впрочем, чтобы ответить этой любопытной девочке – ведь наверняка умирали и девочки на Ходынке, обнимая кровавыми пальчиками 102-миллиметровую кружку с императорским вензелем и два-ку-со-че-ка-колбаски? – понадобится-таки заглянуть в браузер, поиграть с датами.

Он достал телефон и с какой-то ему самой непонятной сладострастностью задумался, отвечая мертвецу точнее, мертвячке (будем уважать гендер) *потому что неудачно его избрали доченька ровно в год когда*

родился хрущев в украинской рубахе с кирпичиком берлинской стены для будапештского музея террора в год когда перед дрейфусом переломили иппагу и отправили прямехонько к чёрту на чёртов остров искать колена израилевы в год когда начался распад европейского атома вся эта мерзость жоржиковская потому что это год когда родился беспринципный гаврила принцип

осторожно доченька здесь слишком тесно и стройматериалы гигантского светлобудущного дома тебе проломают головушку выпьет царь кровавый твою кровушку нет нет не поэтому он кровавый все таки ходынка кончается в доме ипатьева точнее в его подвале где перекрестились товарищи коммунисты карл либкнехт и клара цеткин вот там и перестреляли к такой то матери и императоров и слуг вот в этом доме доченька и закончилась ходынка пока его не снесет ельцин а что снес ельцин

– Хотя вот хрен пойми, – продолжал тем временем вещать старик, торопясь выказать свою культурность. – Все вот новое, а дворец авиации снова Петровским назвали. Нет, конечно, надо возвращать историю *не надо*, но это название только дурит всех, вечно здесь иностранцы питэр зэ грэйт ищут. И хер ведь объяснишь, почему называется Петровским замком. Помните в «Онегине», нет не пошла Москва моя к нему с какой-то головою. Ну, вы не помните, а нас заставляли на зубок учить. Так вот тут Бонапартишка и обдристался *толстой позавидует*. Пирамидки-то легче покорять было. Где-то здесь прямо и стоял. Знал, где красиво, сволочь, да и архитектура ведь не наша, все ему ближе. Новая готика или что-то такое. В общем, мусье Казакофф. Вы должны были проходить его.

Она с интересом взглянула на декоративный орнамент расплзшихся по земле красных стен и пыталась в ней найти «готику», как она ее себе представляла. В архитектуре она разбиралась худо, хоть и получше Альберта (так, не думать о нем, сердито приказала она себе) – тот как-то заявил, что не отличит католический храм от православного и что сильнее всего на него действуют размеры. Правда, это было еще на первом курсе, когда они поехали на недельку в Питер, но вряд ли что-то изменилось: он несколько раз начинал читать книги по архитектуре, потом перепрыгивал на живопись, с искусственным усилием вглядывался в лицо джоттовского Иуды, но быстро забрасывал.

Готика в ее сознании складывалась из суммы пражско-кельнских впечатлений и стихов Мандельштама, которого не любила за заумь. Но неловкий юноша с задернутым носом познакомил ее с первым готическим собором – вся эта костная телесность, грузная масса на тайных подпорках, радостное напряжение мышц и нервов. Соборы чехов и немцев учили ее, что

надо смотреть вверх и все равно не видеть, что вот только выходишь из арки, и шея напрягается от восхищения Витом, или, едва освобождаешься от вокзальной суеты на Kölner Bahnhof, на тебя сразу падает гигантская «улитка» – так называли Кёльнский собор за сходство двух островерхих башен с щупальцами улитки. Сувениры в виде архитектурных моллюсков продавались повсюду, она хотела подарить один из них Альберту, но тот был зол на Кёльн за то, что собор казался припиленным к современному унылому городу, и сгоряча заявил, что лучше бы разбомбили и его тоже, чтобы туристам не нужно было сюда приезжать. Она тоже не любила этот город, он казался мертвым, как и восставший Дрезден, но тогда ей захотелось уйти и погулять одной, и понаблюдать во «Früh» за исполненными достоинства кельнерами, ловко бросавшими на стол небольшие запотевшие бокалы с кёльшем и быстро ставившими палочку на картонке (она не пила пиво, но заказала его тогда, чтобы посидеть с немцами).

Нет, вернулась она мыслями к московскому замку – тот уже почти пропал из видимости, – она не чувствовала здесь готики, но, может, она просто плохо в этом понимает. Впрочем, ей нравилось. Ей хотелось поделиться своим непониманием, и она обратилась к деду, стараясь не смотреть за черту плинтуса:

– Странная какая-то готика, дед, совсем не похоже на Кёльнский. Мне это скорее венские дворцы напоминает. Красиво.

ага кёльн этот недобомбленный ублюдок войны нельзя по нему ходить нельзя ходить по городу с битой ссылкой по городу на который опустился дворец великой красной авиации как гулливеровская лапута – ну и так далее зло и быстро неслось в альбертовой голове, дальше можно не продолжать, в принципе, понятно, а читать все равно невозможно.

– Ну, тут я уже не спец, – отмахнулся старик. – Я Москву знаю, а по вашей Гейропе больше мать твоя была.

– Дед, ну хватит, я же знаю, что ты играешь.

Они и дальше о чем-то говорили, спорили насчет Европы – или Гейропы, если вы случайно гомофоб, – и обсуждали казаковскую псевдоготику, но Альберт уже не вслушивался и исподтишка, будто подглядывая, пробовал ее украденный голос на вкус, впопыхах забывая разбивать его на слова.

Когда он вернулся в их речь, она повторила вопрос про название, и старик снова заговорил о войне, но окольными путями вернулся к Петру:

– Кстати, Петр-то, хоть и ленинградец, все-таки тут тоже успел помудрить. Ну вот дворец лефортовский, который на Яузе, вы там были? Хотя ты ж, бездарь, даже кольцо бульваров не знаешь... С него вся новая

Москва начиналась. В смысле с дворца. Но, конечно, потом Казаков, который и этот дворец отбахал, тут все перестроил, даже Университет, ну, Эм-Гэ-У, старый. Слыхали-то о Матвее Казакове?

– Мы по нему каждый день на Басманную тащимся, – устало протянула она.

Альберт промолчал, он почему-то был уверен, что тащатся они по Юрию, а не по Матвею.

Старик что-то продолжил про жизнь своих родителей на Гороховской, про Казакова, про его смерть от наполеоновского пожара, про корсиканского злодея, хозяйничающего в казаковском же дворце *как потом будет хозяйничать красные люди-птицы хуже зверя*, пока Москва горела *вместе со вписанным в часослов словом*

Казаков умер прямо в двенадцатом году, вспоминал дед (как будто сам с вилами бегал за французскими гренадерами), умер где-то в провинции, пока умирала созданная им Москва *и ничего удивительного ты строил во славу войны и вот она пришла в свои владения она готовила пожар не терпеливому герою а ты мог бы подняться до нерона забраться на холм какой-нибудь если здесь есть холм и смотреть на печальное дело рук своих как говаривал толстой нет не тот толстой а яснополянский бы сказал что по твоим дворцам ходят жирные трясущиеся ляжки те самые ляжки что*

Машину слегка качнуло (впрочем, в шаткой конструкции салона этого было достаточно для того, чтобы плинтус вонзился в грудь), и заднее окно со стороны Альберта на несколько секунд накрылось какой-то большой тенью. Затем тень, покачиваясь, начала возвращать себе трехмерность, одновременно барабана в окно со стороны Альберта с таким паническим ритмом, что он сам едва не запаниковал.

Старик, чертыхаясь, уже давил на кнопку, и стекло медленно плыло вниз, открывая испуганное и добродушное китайское лицо в велосипедном шлеме. Альберт опешил: это был ровно тот бедный сын Мао, что пару часов назад безуспешно пытался узнать у него дорогу и был спасен девушкой-волонтером. Или не тот. Альберт скверно их различал.

Был ли он уже героем нашей истории, или же он только-только прикатил свой старый велосипед прямиком из Гуанчжоу на Ленинградский, оставив дома жену и двоих сыновей, или (кто ж знает его восточную душу) выполнял он здесь секретную шпионскую миссию и пытался найти в московских лабиринт роман Цюй Пэна – это не суть.

Главное, что он пробормотал «простите, пожалуйста, простите», а Альберт, не разобрав слова и только интуитивно поняв извинительную

интонацию, сконфуженно забормотал в ответ что-то на английском, вот эти все расхожие выраженьица вроде «да ничего страшного, что вы», или «не волнуйтесь, мы пришем счет на ваш адрес в отеле», или что-нибудь еще из учебников по IELTS.

Не переживайте, я говорю по-русски, робко сказал велосипедист. А по-английски не говорю.

Старик уже хотел наброситься на него, но она успела быстрее и, что-то успокаивающе пробормотав, отпустила гостя столицы восвояси. Дед обернулся было к ней с разъяренным – редко таким его видел – лицом, но все же взял себя в руки и, снова смачно выругавшись, завел машину. Даже не стал выходить смотреть на вмятину, а она наверняка была немаленькой, хоть велосипед и малоуспешен в качестве тарана.

– Дед, подожди чуть-чуть, интересно же, – попросила она, имея в виду визгливый голос экскурсоводши, пересказывающей Википедию целой группе двухколесных сыновей и дочерей Поднебесной.

Старик, видимо, смирился со всем на свете и, махнув рукой – ну, фигурально, естественно, как вы себе представляете махание рукой за рулем? – снова выключил мотор, предварительно припарковав машину в более приличное место.

Альберт любил подслушивать экскурсии и оказываться у истории под юбкой (так назывался какой-то паблик Вконтакте – *прекрасная мысль лежать меж историчных ног*, как говаривал датский принц). Ораторша была почтенной дородной теткой, из тех, что в метро безмолвно хранят покой эскалаторов так, будто с ружьем наперевес стоят у ленинских мощей. Гамлетовский язык давался ей с трудом (все языковые ресурсы были брошены на Лужники), но, если верить этому велосипедисту, слушатели знали его еще хуже. Даже странно, что она говорила не по-русски, ну да нам не до реализма.

Компенсировав трудности топонимов и датировок полным пренебрежением к артиклям, вдохновленная тетка вырулила к близкой ей архитектурной тематике и заговорила про *eclecticism of Kazakov's style* – и вдруг назвала отстоящие башни дворца минаретами. Альберт не сразу понял это (в ее устах они происходили от *minor* и теряли свою устремленность), но, едва поняв, вдруг согласился с ней

ну конечно вот что сразу царапает башни косят под минареты под разжиревшую и осевшую аяя софию вроде старик тоже о чем то таком говорил только вот жаль без муэдзинов эх родным родненьким поведало мозанцы так любят минареты в них есть что-то классическое

да классическое как *вэхшэт*¹⁹ джалиля ну а как иначе классическое только в героическом то есть в войне дворец во славу войны и стихи во славу войны но господи джалиль еще в первую войну стало варварством писать что варвары одни германцы но тебя вроде оправдывает что ты не знал кто варвар кто решает предатель ты или герой

и вот из моабита восстает вписанное в часослов слово но если бы ты вернулся о если бы ты вернулся не было бы в мозани памятника а была бы только беломорская и мозанские дети учили бы не тебя а его распевали бы товарищ сталин вы большой ученый в языкознании знаете вы толк но ты выполнил завет ты кричал так убей же хоть одного и он сделал тебя героем как же тяжело умирать на гильотине если ты был верен революции но свобода это помост равенство это перекладыны и братство это отточенный нож который вызывает головокружение от успехов

нет ты в этом не виноват ты нес свой не нужный никому кроме мозанских детей героизм ты ковал в моабите свой памятник но понимал что нужно установить контакт нужно соединить мозань и москву и только тогда будешь героем поэтому ты сидел и зубрил пушкина шаламов говорит студент муса залилов неправильно ставил ударения но ты сидел и зубрил да поэтому ты передал моабитское слово альпину и минване чтобы они пришли вчасвечера мечтать над тихой юношью могилой

но ты не знал нет не знал есть смерть страшнее твоей лежа под ножом братства понимал ли ты про кого твое *вэхшэт* помнил ли ты о нигмате терегулове который с твоей тетрадкой угодит прямоком в гулаг как хороши как свежи были розы моей страной мне брошенные в гроб да твоя тетрадка пошла тремя путями и только один путь был в истории здоровый бельгийский потому что это был путь не *homo sovieticus* я скажу за тебя все я опубликую свою тетрадку

так что там с нигматом с этим великим *enigma* почему за то что контакт наконец установлен за то что наконец заговорило то что должно было молчать он должен был познакомиться с колымскими рассказами эх джалиль джалиль чего же не воскликнул ты в сорок шестом *нишлэдең син, жңирем, нишлэдең*²⁰?

Петровский путевой дворец – Холм, с которого всю Москву видать

Странные пальцы на моей руке. Толстые, жирные, извивающиеся, как черви: кажется, отруби их, и фаланги

¹⁹ Варварство (тар.) – Прим. авт.

²⁰ Что ты сделала, моя земля, что ты сделала? (тат.). Из поэмы Джалиля «Варварство» – Прим. авт.

поползут, живя своей жизнью. Чем дольше вглядываюсь в пальцы, тем глубже вижу суть вещей: кости, ткани, хромосомы, атомы, распады атомов – ничто не бежит моего взгляда.

Добрый подо мной конь, добрый. Напряжены его мускулы, готов бежать по первому приказу, и только вперед. Зло сжимаются его зубы (только дураки не смотрят коню в зубы), лишь скажи – и будут рвать врага. Вкусное за вороной шерстью прячется мясо: приедут друзья мозанцы, будем пировать конем моим добрым.

Но что-то прячется под его копытами (вдруг пегас он, выбивает волшебные источники, да не делится), что-то скрывает коварный изгиб хвоста, что-то подсматривает за мной из слишком густой гривы: готовится предательство. Упрежу, предам первым и череп конский выброшу.

Едва подумал, возник под копытами коня моего холм, гора черепов, списанная точь-в-точь с Верещагина. Страшно мне, боюсь черепов: змеи там водятся. Кто же я, господи. Тамерлан? Богдыхан? Но нет, здесь не степь, здесь река: с холма видать Город, большой, ужасно большой. Хорошо. Говорят, у меня диагностировали гигантоманию. Хорошо.

Нет предела зрению моему. Фотографирую как со спутника. Вот Лубянка, здесь установил я трон Пантократора. Вот кровавая площадь: здесь положил я тело предтечи своего, чтобы знали, что делать с моим телом. Вот махины пирамид-зиккуратов: они держат мою власть над городом. Вот золотокупольный взорванный храм – то мой водный дворец. Дворец Дожа.

То не побеги оплетают пустеющие дома, то мои руки растут из-под земли. То не сдвиг терракотовых плит, то терроризирует ужасом поступь моих голенищ. То не опричники с собачьими головами и метлами скачут, то глаза мои рыщут по кривым улицам Города. Головы опричников давно на колах, и головы тех, кто их рубил, тоже на колах. Стоят эти колья частоколом, и ни тигры, ни пантеры их не пройдут.

Все под моим взглядом, только грудь моя осетинская, как бы широка ни была, не поддается. Обращаюсь вовнутрь: чего хочу? хочу ли побороть Тито на полотенцах? Черчилля заточить в

Тауэр? ехать на арбе, подпевая фальшиво Серго? петь в последнем ряду «Не отвержи мене от лица Твоего...»?

Вижу вдруг: растет подо мною холм из черепов, по глазницам узнаю Тито, по скулам – Черчилля, по челюсти – Серго. И в основании всего адамов череп, и рядом Твое лицо. Ты не божий сын, а человеческий, правильно. Нет, не ты мне нужен, правду знает только мозанец: мозанец не поклоняется лицам. Вот и я хочу – безлицым быть, везде, всегда. В траве хорониться змеею, в коллайдере – бозоном, в памяти – именем.

Конь усмирится, не замышляет больше предать меня, а я его все равно предам. Кто же враг мой, господи, если и ты уже, господи, не враг. Сказано в Писании моем: *врагов больше не будет.*

Покорен мной Город, как податливая девчонка, и скучно, страшно мне скучно, что без борьбы вхожу я в тело его. Новый я Долгорукий и новый Победоносец.

Ну же, Город, неси мне ключи твои. А вы, Веласкесы, рисуйте угодливый изгиб его холмов. И копыта, копыта с головами.

Поднимите мне веки: не вижу.

Приоткройте века мне: ты, время, мешаешь.

Отключите вики-сервисы: я один паук, и лишь мне дано ткать паутину.

Где же, где же ключи, я хочу въехать в Город, я хочу тебя понять, и сожрать, и стать тобой. Я завидую твоим столетиям и победам, я завидую твоей прожорливости, я завидую твоей русскости. Сорок сороков пирамид смотрят на меня.

Ну же, черт тебя подери, где хоть один человек в тебе, где хоть граф Безухов: ему меня не одолеть. Где мэры, где пэры, где суд и правота моя, где Мусин-Пушкин, где дом его, где Слово о полку Игореве, где погибель моя? Не смейся, Город, а не то предам тебя огню. Не смейся, мразь. Не смейся, не смейся, не смейся, не смешон я, нет во мне ничего смешного. Все на кольях, и некому в тебе смеяться, Город, так и ты не смей.

Некуда мне уходить, нет со мной старой гвардии, а есть лишь треуголка да серый китель. Нет тебя, Город, ты мираж, ты ходынское поле с хрущевками поверх. Я тоже хочу двести грамм колбасы, Город, я тоже хочу эмалированную кружку с

императорским вензелем. Да скажи хоть что-то, мерзкий, паучий, душный Город!

Бронзовеет длань моя, продавливая черепа и саму землю конь мой вздыбившийся, каменеет взгляд мой тяжелый. Закапывай меня, город, все равно буду стоять на твоём Капитолии. Нет, весь я не умру.

Холм, с которого всю Москву видать – Метро Маяковская

«Волга» плыла, рассекая вязкий проспект, мягко покачиваясь на рессорах и убаюкивая тихим ходом. Еле сдерживая сладкий зевот (дед бы обиделся), она закрыла на минуту глаза и позволила себе насладиться ощущением скорости – сама бы за руль сесть не рискнула, но быть внутри движения ей нравилось. Мягкими волнами накатывало умиротворение, дед насвистывал что-то знакомое и по привычке весело материл коллег.

Вот он был страстный водитель, любил даже стоять в пробке, образуя бранящееся товарищество, любил Москву, и Москва любила его, и она говорила с ним о чем-то своем, стариковском. Судя по его рассказам, он застал еще сталинские стройки, и хваленая «Москва-сити» не могла удивить его гигантизмом; но она сомневалась, что дед помнил что-то из столь нежного возраста. Хотя тот мартовский день, когда безликие от горя соседи зашли к ним домой (ей казалось, что она сама все это видит, такой живой была дедова боль) и сказали, что *Симочка* – так все ласково звали его мать – погибла в страшной давке похорон, дед запомнил лучше, чем хотел бы. И с отсутствующим взглядом пересказывал чужие слова: мать была маленькой, сухонькой, ее просто зажали между озверевшими москвичами, и она задохнулась, а мертвое тело еще долго висело меж людьми как живое.

Хватит, хватит вспоминать, попросила она себя. Будто услышав ее грусть, дед, пользуясь светофорной паузой, обернулся с водительского кресла и, с улыбкой кивнув на спящего прямо на плинтусах Альберта, спросил:

– Скучновато нашему гостю, а?

– Нет, нет, устал с поезда, видимо, – невольно вступилась она, тоже улыбаясь. – Разбужу на следующей остановке.

– Ну вот сейчас Белка будет, интересно это ему?

– Да вряд ли, он отсюда часто ездил к ребятам на дачу. Не любит вокзалы.

Если бы наш герой не дрых на плинтусе и не видел свои египетские сны, он бы постарался взглянуть на бирюзовые башни вокзала (одно из

немногих изученных им мест) посторонившимися глазами. Он бы увидел гигантскую толпу, заполонившую выходы к электричкам, и немедленно заставил бы себя вспомнить бесконечные вереницы солдат, отправляющихся в сорок первый год. *Строчки о войне*, послал бы он запрос в свой подуставший мозг, и тот выдал бы что-нибудь вызубренное в школе, все, что тогда запало и лишь потом в нем очнулось. Заиграло бы в голове прощание славянки, и дудел бы гимн до тех пор, пока не окаменел бы, не ометаллился в том памятнике со спиленными ружьями (по ошибке приделали немецкие), что прощается с уезжающими в Одинцово. Затем сорок первый немедленно срифмовался бы в сознании с сорок пятым, и чисто математический интерес охватил бы альбертову голову: сколько ж их тогда уехало? сколько ж их вернулось двадцать первого июля сорок пятого в поезде победителей – под музыку из фильма и плач мужчин, тоже из фильма? Еще бы решил Альберт, что то творится под рукой вождя миф, который всегда нужен культуре. То возвращаются с чужой войны греки. Уже победили в Гражданской олимпийцы на тачанках, повыкидывали всех титанов за море, а теперь вот нужны герои, и для того украли вместо прекрасной девицы Европу, похитили ее аж два быка и никак не могут поделить. И вот мерзкий старикашка Агамемнон вынужден называть Ахиллеса братьями и сестрами, а Ахиллес, в свою очередь, готовит из себя русскую четырехсложку. Три слоя – это ничего, это всего лишь пятка, а вот обрубок доползет до Берлина. И время-то совсем уже не важно, легко все повторить и через четверть века, и через полвека, и через три с четвертью. Тут, господа, уже арифметическая прогрессия, чисто математический интерес. Ну не сошлись дебет с кредитом, ну не вернулся кое-кто – бабы еще нарожают, ибо миф должен продолжаться.

Конечно, Альберт ни о чем этом не думает: он не смотрел «Белорусский вокзал», а в данный момент спит, видит свои наполеоновские сны.

– Давно он в Москве-то?

– Дед, ну ты ж знаешь. Года четыре уже, даже больше.

– А чего ж кольцо бульваров даже не знает? – усомнился дед.

– Уже знает. Да все мало гуляем, я и сама не успеваю с учебой.

Спасибо хоть ты катаешь.

– Да мне-то только в радость. Я в девяностые китайцев возил, показывал. Жена переводила, правда, они все равно ни хрена не понимали.

Дед вновь ударился в воспоминания, и она, слушая вполуха, посмотрела на спящее лицо Альберта, пользуясь тем, что сейчас это ничего не значило. Вялое, почти одутловатое, и странные круглые очки, каких теперь уже не носят. Во сне он казался почти мальчиком (разве что иногда

какие-то жесткие линии проступали на лице – что-то недоброе видит?), и, по правде, он бы никогда внешне ей не понравился, хотя и мозанского в его лице мало, как бы ни любил он высматривать в себе монгола или казаха. Хоть Цветаеву вспоминай: откуда такая нежность? –

Она знала, что если сейчас тронуть его за ладонь (такую узкую, почти женскую), он встрепенется, как птица, и спросонья даже будет ласков, на секунду забыв, в какой они ссоре. Но потом вспомнит – и раздраженно отодвинется, и снова достанет телефон или планшет, и будет там строчить свой *Дневник*.

Этот чертов *Дневник* не давал ей покоя: она только в общих чертах представляла, какую дрянь он там замешал, но уже того, что он набурчал в коридоре квартиры, было достаточно. Противно. И ведь она сама подарила ему Анну Франк, в переводе на немецкий (ей казалось важным не на русском). Слишком сильное впечатление было после практики в Прожито.

Так, хватит. Уж лучше он будет играть в травму, чем это молчание, давящее на нервы и мешающее смотреть по сторонам. Да и дед уже явно напрягается, хотя так старался организовать эту поездку, и сам Альберт вроде был не очень против.

В конце концов, он не хотел ничего плохого, и если ему так легче, то пусть так. Пусть перебесится со своими играми, а в августе они поедут в Рим, заглянут во все соседние городки, выпьют там апероль (он пристрастился к нему в Венеции) и прочтут сегодняшнюю газетку. Она приучит его болеть за «Старую синьору» – за «Ювентус» болели все ее итальянские друзья. А потом она, дай только Бог, привезет его в Тель-Авив, куда перебрались в девяностые ее родственники, и из этой тусовочной столицы они поедут в столицу настоящую. Он вообще не видел нерусских евреев, и ей было очень смешно читать «исповедь» Арона Гинзбурга, но она ему об этом не сказала.

Дядя бы тоже посмеялся, узнав, что стало с его дневниками. На той проповеди он, по рецепту отца Александра (чудесный был человек, просто чудесный), много шутил – так рассказывал, заикаясь, Альберт, в тот страшный вечер. Альберт вообще его не знал, да и к проповедям, мягко говоря, был равнодушен. Она попросила его передать дяде ключи от квартиры, и он тогда ужасно злился, потому что терпеть не мог пересекаться с незнакомыми людьми. А с дядей же вообще, кажется, боялся, хотя знал о нем только то, что он недавно стал священником, пусть и совсем низкого ранга.

Альберт так ни разу с ним не поговорил: если верить его словам – можно ли верить его словам, она не могла понять и через четыре года, – он тогда простоял всю проповедь у полуоткрытых дверей, не решаясь войти

внутри, и слыша смех немногих прихожан. Откуда появились те радикалы, то ли исламисты, то ли сионисты, то ли вообще ультраправославные, чем им насолил дядя (*я бы понял, если б его свои завалили*, сказал тогда трясущимися губами Альберт), это полиция так и не выяснила; особо никто не заморачивался, потому что убийц застрелили прямо на паперти. Вообще что они исламисты или сионисты, никто не говорил, но Альберт в этом был уверен. У него была почти истерика: он не видел ни террористов, ни момент убийства, но резкий звук выстрелов, бросившиеся вон прихожане, виднеющееся в зале дядино тело (вряд ли он его даже видел), жадно прочитанные потом новости – все это его просто помutilo.

Ее глаза непроизвольно задернулись знакомой пеленой, она часто-часто заморгала, чтобы стряхнуть мешающую влагу, и, решившись, отодвинула доставший плинтус и тронула его руку.

Альберт сразу же – у него всегда это получалось как-то резко – открыл глаза, неузнавающе взглянул на нее и на проносившиеся за окном дома, еще забывая разделять их.

– А, проснулся! – радостно крикнул дед, видимо, наблюдающий в зеркальце.

Альберт ословело замычал что-то, а дед уже обрушил на него водопад имен, потому что пробка проредела, выстрелила из бутылки Ленинградского в бокал Тверско-Ямской, и мотор, затаив какой-то гимн, лихо помчал их, мимо широкоштанного гиганта и обступивших его качелей с радостными москвичами, к Садовому кольцу (объявил дед). Альберт доверчиво ждал кольца, но его там не было, и все же он не был расстроен, было хорошо не бронзоветь и не чувствовать предательство коня, а просто совершать *voyage au centre de la Terre*, приоткрывая завесу над террой инкогнита, как в компьютерных стратегиях по покорению Египта Александром или Наполеоном. На короткий миг он начал что-то понимать, на карте метро вдруг проступила наземные имена, и с промелькнувшего, как ядро Мюнхгаузена, рекламного щита ему кто-то улыбнулся.

Метро Маяковская – Арбаты

Всякий раз, как Альберта угораздивало засыпать посреди дня – а это случалось нечасто, это в Альбано можно спать после обеда, а в Москве ритм совсем другой, – он долго не мог потом очнуться и чувствовал себя довольно странно. Во всяком случае, терялся во времени суток и плохо адаптировался к тому моменту, что пробудил его к жизни.

Плнтус куда-то исчез (Альберт не знал, что пару минут назад была остановка, деду надо было занести другу материал, а она заодно заскочила в туалет, потому что в Макдональдсах все-таки было слишком грязно). «Волга» вообще чудесным образом преобразилась – ноги свободно растянулись (дед успел подвинуть свободное переднее кресло), жара немного спала; откуда-то слева протянулась холодная минералка, и он, еще мало что соображая, с блаженством сделал большой глоток. Альберт любил чувствовать, как пузыри с газом плавно опускаются по телу.

Минералка немного освежила его, но все же голова была забита сонным туманом, и уши послушно впитывали звуки: других машин (особенно резко взвизгнул мотоцикл неподалеку), прохожих (кто-то громко кричал, торопил попутчиков), тикающих светофоров, что-то рассказывающего с переднего сиденья деда, – но он ничего не разбирал, да и не пытался.

С инфантильной и сытой улыбкой, точь-в-точь как у развалившегося на сиденье барчука с советского плаката, призывающего уступать старшим («не будь таким»), Альберт блаженно вперил взгляд в окно. Там что-то звучало, звенело, катилось, светилось, болталось и болтало на всех языках.

За окном показались знакомые еще с давнишних экскурсий красные стены, ненастоящие, как будто выпрыгнувшие с открыток. Будь Альберт в нормальном состоянии, его поразило бы, что они прикатили сюда прямехонько от «Маяковской»: он бы не поверил, что между дискретными станциями метро есть наземное пространство. Но изнутри той ваты, что была навалена на его изнеженное тело, противоречия скрадывались.

– Кремль, – гордо объявил дед. Он специально доехал сюда, не свернув раньше.

– Кремль, – согласно кивнул Альберт, гордо называя вещи своими именами.

Он хотел добавить, что отсюда на красной ветке по прямой до Воробьевых, но благоразумно промолчал. Земной путь всегда кривее.

И снова, снова помчалась «Волга», ровно как в сказке какой-то: ты попробуй, чудака, «мчаться» по центру Москвы, да еще в день финала мундиаля! Ан нет, хитра улыбка у ее деда, далеко развеивается его колдунская борода, и летит «Волга», не хуже ковра-самолета летит. А уж если плывет (ведь Волге положено плыть) – то не как нагруженный туристами вапоретто, а как катер, который всегда такими завистливыми взглядами провожают рядовые венецианцы.

Развороты, повороты, недовольные гудки, ее недоумение («Дед, здесь же нельзя разворачиваться»), отмашки деда. И вот машина рассекает древний

воздух нового Романова переулка – господи, сколько же всего спрессовалось в этих двухстах метрах, недаром семьдесят лет носивших имя товарища Грановского! О том сообщил дед, который здесь бывал часто в конце шестидесятых, ухаживал за одной историчкой (истфак как раз тогда был тут). А мы добавим, что в этом царском переулке проживали не простые москвичи, а: тов. Хрущев, тов. Маленков, тов. Фрунзе, тов. Молотов, тов. Ворошилов, тов. Малиновский; да окромя того целый набор маршалов: тов. Будённый (с конем), тов. Рокоссовский, тов. Жуков (на коне). Еще притаилась нарышкинско-барочная церковка, в первый раз построенная ровно в год избрания Михаила Федоровича (тем обиднее, что переулок назван в честь боярина, а не царя). Но церковь – в те годы, когда остроумные товарищи сделали из нее столовую – завоняли пожарскими котлетками, так что давайте оставим уже переулок, а то в любую точку Москвы ткни и случайно наткнешь что-нибудь историческое, а мы ведь историю уже дискредитировали: нету ее.

Батюшки, упустили мы нашу «Волгу», она уже гонит на всех бензиновых парах по Воздвиженке.

Сюда бы хорошенькую кинокамеру, и тогда все легко передали бы. Чух-чух – сменяются кадры. Чух-чух – мелькают лица а-ля Эйзенштейн. Чух-чух – мизансцена показана в отражении зеркала заднего вида. Пока расскажешь, весь темп потеряешь.

Но, в отличие от кинооператора, у нас есть великая возможность: залезть в самую душу человеческую. Что же там, в нутре альбертовом? Ему хорошо.

– Новый Арбат, – объявил дед.

– А почему не через Старый? – сморозил Альберт.

– Алька, ну ты что, он же пешеходный.

Это сказала она, и в этом не было ничего обидного (ну на Арбате-то, естественно, он сто раз бывал), и дед только ухмыльнулся за рулем и, крикнув что-то извозчичье, погнал коней еще сильнее.

Альберт послушно развалился на розвальнях, уложенных теплой соломой, и снова задремал (он никогда не спал днем, но если уж засыпал, то обязательно дважды), и она рассказывала ему что-то о Новом Арбате, а он, убаюканный Окуджавой, слушал.

Арбаты – Свияжск

Где-то на выезде на набережную – то ли от близости воды, то ли от лихой скорости, с которой воскресшая «Волга» взяла этот поворот, – голова

Альберта более-менее прояснилась. Инфантильная улыбка стерлась с лица, которое перестало напоминать тесто и вернуло привычную жесткость. Но все же там, в нутре альбертовом, было по-прежнему хорошо.

Что-то он должен был сделать, что-то успеть, что-то поменять.

– Эх, люблю воду, – мечтательно, как герой русского сериала, протянул дед.

– А какая река? – автоматически спросил Альберт.

Два скептических взгляда (один слева, один снова с зеркальца) дали ему очевидный ответ, и он, рассмеявшись, сказал что-то, что обычно передают почесыванием затылка и растянутым «Ну дэ-э-э...», именно с таким придурковатым «э».

Мысль его тем временем прыгала по дедлайнам, число коих было не сильно пугающим, учитывая дату. Наконец, допрыгала до главного: дневник. Надо опубликовать этот выношенный, вымученный (шутка ли – с весны) документ, который он изо всех сил старался сделать документом.

– А что за памятник мы только что проехали, а, дед?

– Какой это? А, тот. Столыпину. Его буквально несколько лет назад Путин поставил. Говорят, с Медведем лично зарплаты перечислили. Сдался им этот Столыпин, лучше б дороги сделали. Установили еще на этой площади, Свободной России, блин. Площадь Свободной России. Выдумали же, а. Язык сломаешь. Тут Белый дом рядом. Который Ельцин в девяносто третьем обстрелял.

Просто клад для альбертовой головы, но в этот раз она была забита другим. Только название площади, дважды повторенное, застряло в сознании и вызвало ленивый вопрос: а где же площадь свободной Москвы? Да вот же она, удивленно ответил бы дед, приостановив «Волгу», выйдя из машины и сделав неопределенное круговое движение во все стороны.

– Жуть, дед, – откликнулась она, безуспешно пытаясь разглядеть через заднее стекло Белый дом. – Вообще не понимаю, как ты это все пережил. Ты как будто в трех странах жил.

– Да уж поболее будет, – мелко, как горох, рассмеялся тот. – Все они хреновые, а Москва красивая.

Альберт мысленно записал эту фразу эпитафией к новому изданию Гиляровского и постарался дальше уже не слушать. Так что если мы дальше передадим дедовы рассказы, то будет сплошной «дырбулшил», бессмыслица какая-то.

В отличие от Пьера и этой сумасшедшей синьоры де Буджардини, историю которой он зачем-то продумал в своей больной голове, Альберт с недоверием относился к нумерологии. Может быть, дело в том, что в его

родном городе вообще не было названий улиц (точнее, ими никто не пользовался, они только в Википедии фигурировали), вместо них в ходу были цифры, и он от них устал. Так что хитроумные вычисления никак не выводили, что именно он перепишет историю мира или хотя бы мундиаля.

Тем не менее, по всему выходило, что *Дневник* должен быть опубликован ровно перед началом финального матча, и тогда все разом поймут, какой глубокой ошибкой было собирать здесь весь мир и говорить ему об истории Москвы.

Дневник был написан намеренно просто, еще проще, чем обычные гинзбурговы посты. Он ведь был детский.

– Тут через реку вокзал, – мельком сказал дед. Альберт внутри держал паузу и потому услышал.

Дальше не мог: задумался о Веничке. Тут уж никуда не денешься, *genius loci*, как говорится.

Тут же Киевский, а не Курский, усомнился Альберт. Уж с чем, с чем, а с вокзалами он был хорошо знаком.

Ты куда ни езжай, все равно в Москву приедешь, сказал веничкин голос. Он звучал странно, без былой бодрости. Как будто уже после распятия, как будто с той трубкой, что боролась в его гортани с раком.

Больше ничего не сказал, ушел из памяти, потому что вокзальные границы кончились. Альберту показалось, что он увидел на его пиджаке значок с арзамасским гусем. Хотя странно: один ведь голос являлся, откуда все эти пиджачки, значки, гуси? Но зависти уже не было.

Как и интереса к *Дневнику*, к этим признаниям маленькой Маргариты, умненькой опрятной девочки – когда жила себе спокойно в своем Браунау-ам-Инн, анорексичного запуганного существа – в детской ИТК № 11 в Свяжске, куда угодила за отцом, военнопленным, захваченным бравым мозанским батальоном. Точно выверенные даты, наблюдения за взрослением собственного тела (украдено у Анны Франк), подслушанные разговоры о «Пахане», местный мулла-педофил, лишенный сана священнослужителя. Альберт думал даже съездить в Свяжск, благо от Мозани возили экскурсии, но решил ограничиться сайтами. Тем не менее, он знал об ИТК № 11 все, что могла знать Маргарита, и он был маленькой девочкой и со страхом смотрел на бороду бывшего муллы и на его жирные, как черви, пальцы. То, что описывалось на последних десяти страницах *Дневника*, Гинзбург, наверное, только пересказал бы, требуя мести и переживая из-за принятого христианства.

Дед снова что-то забормотал о городе: дескать, набережная перекрыта, нужно другими путями, ну да им разницы нет, можно к парку. Улицы

побежали по взгляду Альберта, сыпля названиями, но только одно из них – *Льва Толстого* – зацепилось за его мысль. Толстой, наконец, вывел их на нужный путь.

Гинзбург должен был рассказать все – переживая из-за того, что слова отца Александра расходятся с его, Гинзбурга, смертью, и никуда нации не уходят, и мозанец остается мозанцем, как бы ни притворялся он еврейским стариком или немецкой девочкой с австрийскими корнями, которую убивают в лагере вместе с отцом какие-то подпольные сионисты, или исламисты, или ультраправославные.

Москва не согласилась с его мыслями и загудела что-то неодобрительное из-за стекол «Волги». Альберт, выйдя из оцепенения, посмотрел туда и увидел ее взгляд. Не Москвы, конечно: глаза Москвы смотрели не на него. А вот она смотрела на него и с улыбкой сказала:

– Помнишь, мы тут в первый раз по-настоящему с тобой начали общаться, на каком-то городском празднике.

– А? – непонимающе спросил Альберт, внимательно смотря на нее.

– Парк Горького.

– Точно-точно, – быстро откликнулся он.

Москва-река

Они проболтали всю оставшуюся дорогу, как только могут болтать истосковавшиеся по диалогу люди. Дед иногда встречал в разговор, рассказывал, как его отец состоял в переписке с Горьким, они автоматически восхищались. «Волга» почти не тарахтела и не жаловалась на то, что в спешке ее позабыли заправить. Ее неработающие фары ощупывали набережную и кромку воды: в ней все-таки жила тоска по речному.

– Нескучный! – торжественно объявил дед. Он уже подустал и радовался финишу. – Там, за рекой. Вся соль в том, что он довольно скучный. Когда рядом столько всего.

– Ты что, дед, – не оборачиваясь, сказала она. – Парк слишком мейнстримный, в Нескучном гораздо лучше.

– Ну и то правда, – не стал спорить тот. – Тут вообще Москва начиналась. Я слышал, раскапывали кучу всего допотопного. Несколько тысячелетий.

Они не слушали. По правде говоря, они и друг друга-то не очень внимательно слушали. Альберт вдохновенно рассказывал о комментаторах Семисферы, о старой синьоре со смешной фамилией Буджардини, ее историю с матчем и все, что пришло ему в голову от этого сообщения.

Дед услышал знакомые футбольные слова и вдруг предложил:

– А давайте я чуть дальше вас свезу, здесь же уже Воробьевы начинаются. Там Лужники.

Они ничего не поняли и для отмашки кивнули головой. Волга снова двинулась в путь, соревнуясь с Москвой-рекой, изгибаясь вслед за ней по Фрунзенской набережной. Вместе с ними двигались тысячи машин, и все в одну сторону.

Альберт понимал, что Лужники совсем скоро, что нужно быстрее все выболтать, и он вываливал на нее все, что приходило ему в голову. Валентина – придуманная, не было никакой Валентины. К дяде на могилу они скоро сходят. Прочтут там «Не отвержи мене от лица Твоего...». С Цыганкой он помирится, славная собака. Файл с *Дневником* уже удалил к чертовой матери. И в Израиль съезжат, если только «Эль Аль» не будет слишком допытываться, почему у него мозанская фамилия, почему он любит Стамбул, почему раскосые глаза, почему притворялся евреем. Скажу, что аккаунт на Семисфере завел для Таглита, пытался отшутиться Альберт. Она смеялась, но переживала.

– Приехали, приехали, выходите скорее, – закричал громко дед. – Приехали!

Их вынесло из «Волги» и прибило к Фестивальной площади, и машину отнесло куда-то в сторону. И дед куда-то отошел, пропуская человека, другого человека, третьего человека, бесконечных людей, идущих к гигантскому стадиону, олимпиадной столице, новомодному колизею.

Шли русские, привыкшие к Москве и ее истории, славящие победу (восьмой кусок пирога). Шли немцы – из тех, что выдержали национальную травму (бундестим проиграл). Шли итальянцы, случайно сюда попавшие: они не должны были в этом участвовать. Шли французы, они радовались. Шли хорваты, они плакали. Шли персы и вели за собой боевых слонов. Шли китайцы и показывали экономические чудеса. Шли египетские рабы и тащили сорок веков, а те смотрели на французского капитана. Шли американцы и призывали не смотреть назад. Шли мозанцы: куда им смотреть, как не назад. Шли греки, новые и древние, под олимпиадный зов.

Видел Альберт: нет больше народов.

И еще видел он: завершилась великая депортация народов.

Где же ты, где же ты, забеспокоился Альберт, но она ушла куда-то, наверное, искать деда.

Гомон туристов вокруг запорошил ему голову, он растерянно оглянулся кругом и понял, что земля вместе с ним здесь кружится, идет волнистым изгибом вслед за Москвой, Москвой-рекой. Если идти к

Лужникам со стороны Воробьевых гор – как идет сейчас не ищущая легких путей старая итальянская синьора, – то можно увидеть, что дуга Лужнецкой раскинулась на обе стороны на сорок сороков набережных. Слева бежит она, изгибаясь змеей, до Краснопресненской, и взгляд упирается в пирамиду бывшей гостиницы «Украина». Справа бежит она до Котельнической: там ее ждет острие другой пирамиды. Третья пирамида-зиккурат смотрит прямо на Лужники, но синьора его не видит, она за ее спиной.

Протолкавшись через болельщиков, Альберт прошел до набережной, не переставая бесполезно кричать ее имя. Он надеялся, что его здесь скорее заметят.

Через реку, со стороны Воробьевых гор, виделась невысокая, но чудовищно толстая женская фигура. Прищурившись, Альберт увидел, что это старушка. Лицо у нее было странное, несочетающееся: попробуйте соединить русскую бабушку со «старухой» Джорджоне. Когда-то давно он ее уже видел. За ее спиной вставала трехбашенная махина университета.

Старушка что-то кричала, но в вавилонском шуме Лужников услышать это было почти нереально. На третий раз Альберт понял, что она говорит по-итальянски, но даже не успел удивиться. Наконец, до него донесся вопрос: «Как пройти мне?».

Решив, что имеет дело с психопаткой, Альберт хотел просто кивнуть на гигантский стадион за собой, но она молча качала головой. Ступенчатая пирамида за ее спиной пронзала небо шпилем и тоже не соглашалась.

– Идите в сторону Москвы-реки, – хотел сказать Альберт, но забыл, как будет по-итальянски «река». Фраза осталась обрубленной, как уродливая пирамида.

Простейшее дантовское слово выпало из памяти, как у одной из чеховских сестер.

– Альберт!

Он увидел их с дедом, они быстрым шагом шли от Лужников, и это было странно: ведь все шли к Лужникам. От беспокойства и страха на ее лице ему стало спокойнее: все будет в порядке. Они поплывут по Волге, и дед что-нибудь будет рассказывать размеренным голосом, и видения оставят его. Все будет хорошо, она сейчас подскажет, как будет «река».

Но старая синьора и так его поняла. Закивала, улыбаясь, и быстро проговорила двумя голосами:

– Но capito, ho capito²¹. В сторону Москвы.

²¹ Поняла, поняла (ит.).

